Митрополит Антоний Сурожский

Жизнь. Болезнь. Смерть

От издателей

Митрополит Антоний (в миру – Андрей Борисович Блум) родился в 1914 г. в семье сотрудника русской дипломатической службы (мать – сестра композитора А. Н. Скрябина). Раннее детство прошло в Персии, где отец был русским консулом. В 1920 г. семья с трудом добралась до Европы и после нескольких лет скитаний осела в Париже. Будущий митрополит окончил здесь среднюю школу, затем биологический и медицинский факультеты университета. В 1939 г., перед уходом на фронт хирургом французской армии, тайно принес монашеские обеты, в 1943 г. был пострижен в мантию с именем Антония. В годы немецкой оккупации – врач в антифашистском движении Сопротивления. После войны продолжал медицинскую практику до 1948 г., когда был призван к священству, рукоположен и направлен на пастырское служение в Англию. Епископ Русской Православной Церкви с 1957 г., в 1966 г. возведен в сан митрополита и утвержден в должности Патриаршего Экзарха Западной Европы (обязанности которого исполнял уже с 1963 г.). Освобожден от должности по собственному прошению в 1974 г.; с тех пор полностью посвятил себя пастырскому окормлению все увеличивающейся паствы своей епархии и всех, кто обращается к нему за советом и помощью. Его книги о молитве, о духовной жизни, вышедшие на английском, переведены на многие языки мира. Митрополит Антоний – почетный доктор богословия Абердинского университета "за проповедь слова Божия и обновление духовной жизни в стране" и Московской Духовной Академии – за совокупность научно-богословских, пастырских и проповеднических трудов.

Пастырь у постели больного

Ответы митрополита Антония Сурожского на вопросы руководителя религиозной программы русской службы Би-би-си "Воскресение" протоиерея Сергия Гаккеля, с которым владыку Антония связывает почти полувековая дружба. Цикл передач "Пастырь у постели больного" выходил в эфир с октября 1993 по январь 1994 г.

Отец Сергий. *Владыко, ты работал врачом и после пострига. Насколько при необходимости каждый пастырь должен быть не только духовником, но и сиделкой, и врачом у постели больного, умирающего?*

Митрополит Антоний. Что бы ни думал священник о своей роли, ему эта роль как бы предписана и навязана жизнью, потому что если он *пастырь*, то есть реально заботится о тех людях, которых Бог ему поручил, то его непременно будут призывать, когда возник какой-то кризис, будь то болезнь, будь то наступающая смерть кого-нибудь в семье. И болезнь – один из самых серьезных кризисов, потому что она ставит человека перед лицом целого ряда положений, о которых здоровый большей частью не думает. Во-первых, болезнь ему ясно говорит о том, что он смертный. Я говорю не о преходящей простуде, но когда человек заболевает сколько-нибудь серьезно, то – справедливо или нет – вкрадывается мысль: значит,

я над собой не имею власти, я не могу помешать болезни мною овладеть; значит, я не смогу, если она мною овладеет до конца, избежать смерти... Это первый вопрос, который, может быть, не так ярко формулируется, но что-то такое проникает в сознание человека.

О. С. *То есть он не только нуждается тогда в пастыре, но и особенно открыт?*

М. А. Он особо открыт, если пастырь сумеет ему помочь эти переживания высказать. Если пастырь к нему подойдет и будет говорить: Вот, вы сейчас заболели, вы должны понять, что за болезнью, может быть, смерть идет... – то, конечно, человек замыкается. У меня был опыт в этом отношении.

Во время войны в нашей части был католический священник, который считал, что всякий раненый солдат или офицер может умереть в любую минуту, и единственная его, как пастыря, задача, – раненого отысповедовать и причастить: раз он причащен, пусть умирает себе спокойно... Он приходил к каждому раненому, становился у ног постели и долго на него смотрел. Через некоторое время этот несчастный начинал ерзать, тревожиться: "А в чем дело, почему вы на меня так смотрите?" – "Ты же ранен; ты смотрел свою температуру?" – "Да". – "Плохая она". – "Доктора говорят, что это естественно..." – "Доктора всегда так говорят, чтобы успокоить больного. Ты же знаешь, что можно и от небольшой раны умереть, если она загноится..." И так он продолжал разговор, пока не загонял несчастного раненого в угол; исповедовал, причащал – и уходил, говоря мне (тогда – врачу): теперь ваше дело, я все свое сделал... Конечно, если священник будет так подходить к несчастному больному, то он его только напугает, тот закроется. И слишком часто, когда священник навещает больного, это рассматривают как предостережение: быть может, смерть у порога.

Но если священник имеет опыт болезни, либо потому что сам болел, либо потому что сумел *видеть* тех людей, которые болеют вокруг него (видеть – не так просто, это не зависит от того, что у тебя глаза есть; надо уметь посмотреть), то и тогда есть целая – ну, не наука, а искусство. Наши отношения с людьми должны быть таковы, чтобы наш приход в дом воспринимался просто и с радостью. Это означает, что пастырское попечение о больных должно начинаться, когда люди здоровы, начинаться с установления простых, дружеских отношений.

Для того, чтобы так, душевно подойти к человеку, нужно громадное внутреннее целомудрие, нужно быть в состоянии посмотреть на человека как на икону, на живую икону, к которой ты подходишь с глубоким уважением, с благоговением, и по отношению к которой ты будешь действовать, как действовал бы в храме по отношению к писаной иконе. То есть – молитвенно, благоговейно, чутко, смиренно, трепетно и прислушиваясь изо всех сил к тому, что в человеке есть, что он может сам сказать; но и к тому, что Дух Святой в нем совершает. Внутреннее молчание священника, его способность встречать человека на какой-то глубине очень важна, потому что болезнь – это момент изумительной встречи с человеком.

О. С. *Интересно, что ты говоришь о молчании. Значит, вопрос не только в слове, не только во внешнем подходе, но во внутреннем отношении к человеку, которое может поддержать и озарить больного. Отношение – самое главное?*

М. А. Самое главное – отношение и твое *присутствие*, так, чтобы больной не чувствовал, что ты только ждешь момента, когда сможешь уйти по другим делам.

Мне вспоминается один случай. Я одно время работал в психиатрической клинике; один больной провел там шесть месяцев и ни разу ни слова не ответил ни врачу, ни сестрам, ни приходившим родным. Я, припомнив беседу с одним психиатром, попросил начальника отделения дать мне возможность с ним сидеть. Я с ним сиживал три, четыре, пять, шесть часов подряд без единого слова, – я просто сидел, и он сидел. После десяти дней или двух недель он вдруг ко мне обратился и сказал: "Зачем вы все эти дни и часы со мной сидите, в чем дело?.."

И с этого началось его выздоровление, благодаря тому, что он смог с кем-то заговорить. Это психопатологический случай. Не все мы – патологические случаи в таком же смысле, но все мы замкнуты в себе. У каждого из нас есть сердцевина, которую мы боимся открыть другому человеку. А вместе с тем, если мы не откроемся (я не говорю о тех глубинах, куда только Бог имеет право заглянуть), если человек не приоткроет тех глубин, где происходит внутренняя борьба между светом и тьмой, между жизнью и смертью, между добром и злом, то твое священническое присутствие с точки зрения его болезни никакой пользы не принесет.

У меня есть близкий пример тому, правда, еще из моей врачебной работы. Помнится, на войне, во время первых боев, привели одиннадцать раненых солдат. Это был мой первый контакт с людьми прямо с поля битвы. На их лицах еще был ужас, страх. Я подумал: я должен как можно скорее сделать для них – для каждого – что могу, чтобы следующий не ждал слишком долго... Я работал как можно быстрее и отправлял их в больничную палату. Потом пошел туда и обнаружил, что я ни одного из них не могу узнать: ведь я смотрел на их раны – на грудь, на ноги, на живот, на плечи, а на лица не смотрел, никто из них не был ранен в лицо. И они все оставались в состоянии шока, потому что они его не изжили. Когда была приведена следующая группа раненых, я, наученный первым опытом, решил, работая руками, с ними разговаривать (можно сделать руками очень многое, пока говоришь и смотришь на человека). Я каждому смотрел в лицо и задавал вопросы; потом, глядя, конечно, на свои руки и на его раны, делал то, что надо. Я спрашивал: *Как тебя зовут? где тебя ранило? очень ли было страшно?..* – вопросы незатейливые, но такие, чтобы раненый успел за то время, пока я им занимаюсь, вылить свой страх, вылить свой ужас. И когда я потом посетил палату, во-первых, я всех раненых узнавал в лицо, и во-вторых, обнаружил, что шок у них прошел, потому что за наш короткий разговор они успели вылить свои чувства.

О. С. *Все, что ты говоришь, указывает на другой темп жизни. У постели больного нельзя так действовать, как в обычной жизни, – не на все вопросы надо отвечать, надо говорить не с такой быстротой, не на все ожидать ответа... Надо очень осторожно и мудро и смиренно подходить к такому человеку...*

М. А. Я совершенно уверен в этом. Инициатива в каком-то отношении должна идти от больного, а не от тебя. Ты должен быть настолько углубленно-молчалив и открыт, чтобы больной мог в любую минуту с тобой заговорить. Важнее всего, больше всего помогает (и научиться этому трудно) способность сесть и *пребыть* тут, в полном покое. Это подразумевает две вещи. С одной стороны, это надо делать так, чтобы гот, о ком вы заботитесь, сознавал, что вы пришли на неограниченное время, вы не спешите, вы *совершенно* присутствуете. Ведь вы прекрасно знаете, как выглядит посещение, если человек присаживается, и по его лицу явно, что у него десять минут времени, и он ждет, чтобы они прошли, и он мог бы сказать: "Ну, мне пора!" Так часто мы озираемся вокруг, смотрим по сторонам, и тот человек, которого мы будто бы пришли навестить, чувствует, что на самом деле мы вовсе не с ним. Физически – да, мы тут, но мысли наши разбегаются, мы думаем о предыдущем или о следующем пациенте, или о чем-то, что мы должны были или собирались сделать. Если вы кого-то посещаете, пусть ему будет совершенно ясно, что *все* время, каким вы располагаете – пусть пять минут – принадлежит ему совершенно безраздельно, что в эти пять или сколько-то минут ваши мысли не будут заняты ничем другим, что нет на свете человека более значительного для вас, чем тот, с кем вы находитесь.

И кроме того, умейте *молчать*. Пусть болтовня отступит, даст место глубокому, собранному, полному подлинной человеческой заботливости молчанию. Молчанию научиться нелегко. Сядьте, возьмите больного за руку и скажите спокойно: *Я рад побыть с тобой...* И замолчите, будьте с ним, не воздвигайте между вами целый мир незначительных слов или поверхностных эмоций. Пусть ваше посещение будет ему в радость, пусть он знает, что и для вас быть с ним – радость. И вы обнаружите то, что я не раз обнаруживал за последние 30-40

лет: в какой-то момент люди становятся способными говорить, – говорить серьезно, говорить глубинно, произносить то немногое, что сказать стоит. И вы обнаружите нечто еще более поразительное: что вы и сами способны говорить именно так.

О. С. *Тут нужно большое терпение и большое смирение!..*

М. А. Видишь ли, у меня нет ни терпения, ни смирения, но у меня есть усидчивость. Я думаю, что если у священника хватит просто честности сказать: я ничего не могу сделать, кроме того чтобы прийти, сесть и ждать, *что* будет – и то будет на пользу. Нет ничего более разрушительного для душевного состояния человека, как священник, который придет, сядет и смотрит на часы. Может быть, вы спешите, может быть, вам надо попасть еще куда-то, но тот, с кем вы сидите, должен чувствовать, что все то время, которое вы проведете с ним, вы думаете только и исключительно о нем. Следует научиться видеть человека и слышать его. И в течение всего разговора воспринимать не только слова, но и выражение глаз, лица и голоса. Мы, может быть, услышим очень мужественные слова, произнесенные со страхом в голосе. И мы должны быть в состоянии ответить на страх или на невысказанный вопрос, скрытый за словами, а не только на произнесенные слова. Смотря по тому, каковы отношения с данным человеком, можно действовать по-разному. Если вы близко знакомы, можно сказать: "Нет, будь правдив, не притворяйся. Давай говорить прямо: ты боишься – в чем дело?" Если вы знакомы не так близко или если отношения не так глубоки, следует найти способ дать человеку понять, что мы понимаем его состояние, не раня его. У нас должно быть мужество и такт, которые позволят больному заговорить о своих страхах, потому что одна из самых тяжелых вещей для него – это лежать, замкнувшись в свое одиночество, которое создается тем, что он не решается высказаться. Многие, думая, что смертельно больны, боятся задать вопрос, потому что страшатся ответа. И первое посещение больного может стать началом правдивых отношений.

Еще один момент отношений с больным (это затрагивает не столько священника, сколько все окружение человека, очень широко) – это обычай навещать больных. Для больного такие посещения могут быть большим благодеянием, но могут оказаться сущим бедствием. Я знаю, Евангелие учит нас, что посещать больных – добродетельно. Но я знаю также, что применять евангельские советы и заповеди следует с большой рассудительностью, руководствуясь любовью; и очень часто любовь, которую мы вкладываем в свое посещение больного, можно было бы выразить куда как лучше, предоставив ему возможность побыть в покое. Мне случалось болеть, и чтобы не стать жертвой милосердия друзей, я вешал на дверь записку, которая многих задела; она гласила: Вот случай из жизни святого Арсения Великого. Одна знатная женщина добралась из Константинополя в пустыню, чтобы посетить его, и сказала: Отче, дай мне заповедь, которую я бы выполняла всю жизнь! Арсений ответил: Вот тебе заповедь; и помни, что ты обещалась никогда не нарушить ее: когда услышишь, что Арсений в одном месте, сразу удались в другое...

Кроме того, что порой именно любовь должна нас удержать от посещения тех, кто прекрасно и счастливо мог бы обойтись без наших утомительных, расслабляющих визитов, очень часто посетитель мог бы содействовать поправке больного, помогая ему быть собранным, серьезным, полностью владеть той силой жизни, которая в нем есть, помогая не быть рассеянным, опустошенным, не разбрасываться. Вы сами знаете, как опустошительны некоторые разговоры, как нас истощают некоторые посетители. Вот чему, я думаю, должны научиться и молодые, и немолодые священники, вот чему следует учить врачей, сестер, родственников: одна из вещей, которая может погубить встречу или посещение больного, – это пустая болтовня, пустословие, потому что болтовней, словно ширмой, часто пользуется человек, чтобы защититься от необходимости быть серьезным, высказать свою тревогу, быть правдивым и истинным. Постоянное суесловие открывает этому большие возможности, и

пациент становится все менее реальным, он все меньше в состоянии справиться с жизнью, с болезнью, с собственным выздоровлением.

О. С. *Как научиться этому трудному делу молодому священнику, еще не обогащенному ни жизненным, ни пастырским опытом?*

М. А. Надо стать, как музыкальная струна, которая сама не издаст звука, но как только к ней прикоснется палец человека, она начинает звучать, – петь или плакать. Этому должен научиться всякий человек, на этом основаны *все* человеческие отношения. Если врач так относится к больному, если священник так относится к пасомому – больному или не больному – то создаются совершенно новые отношения.

О. С. *Мы столько говорим о встрече священнослужителя с больным и еще ни слова не сказали о таинствах. Это, наверное, удивит того священнослужителя, который как-то готовился к тому, чтобы быть требоисполнителем?*

М. А. Я думаю, что одна из задач священника – сделать больного восприимчивым к таинству. Таинство не является магическим способом исцелить или очистить человека. Конечно, в таинстве есть объективная сила, объективная реальность, но человек может ее получить и схоронить. Отец Георгий Флоровский мне как-то сказал, что когда мы крестим ребенка, мы словно вкладываем зернышко в глубины той почвы, которую он представляет. Но если оно не будет взращено, оно может так лежать до конца жизни. И больной не обязательно открыт. Я больше скажу: часто больной замыкается, потому что боится (знаешь, существует множество нелепых предрассудков), что если ты ему предложишь причаститься, это значит, что ты в нем видишь умирающего.

Кажется, митрополит Платон (Левшин) написал, что не лишение таинств, а презрение к таинствам отнимает у человека благодать. С другой стороны, помнится, святой Иустин Философ говорит, что достаточно было бы причаститься один раз в жизни, потому что, как говорит апостол Павел, дары Божий неотъемлемы. Но нам приходится возвращаться к таинствам, потому что мы теряем в своих глубинах то, что там лежит, словно клад. И если нет возможности получить таинство, приобщиться к тем или другим таинствам, то мы можем, как Феофан Затворник говорит, в себя углубиться и приобщиться тому, что нам *уже* дано, что в нас *уже* лежит, как драгоценный плод.

Поэтому не надо "пугать" человека: "Вот, я тебя причащу, потому что – кто знает – может быть, ты сегодня ночью умрешь..." (ведь это так воспринимается больным человеком), а надо его успокоить и постепенно довести до его сознания, как было бы замечательно для него, чтобы все его духовные силы собрались воедино вокруг таинства причащения, – причем не безусловно, а как результат очищения совести.

Мне сейчас вспомнилась одна женщина, которую я напутствовал сорок лет тому назад. Она умирала и просила ее причастить. Я сказал, что она должна исповедоваться. Она исповедалась, и в конце я ее спросил: "А скажите, не остается ли у вас на кого-нибудь злоба? есть ли кто-нибудь, кого вы не можете простить?" Она ответила: "Да. Я всем прощаю, всех люблю, но своему зятю я не прощу ни в этом мире, ни в будущем!" Я сказал: "В таком случае я вам ни разрешительной молитвы не дам, ни причащения". – "Как же я умру не причащенной? я погибну!.." – Я ответил: "Да! Но вы уже погибли – от своих слов..." – "Я не могу так сразу простить..." – "Ну, тогда уходите из этой жизни непрощенной. Я сейчас уйду, вернусь через два часа. У вас впереди эти два часа для того, чтобы примириться – или не примириться. И просите Бога, чтобы за эти два часа вы не умерли". Я вернулся через два часа, и она мне сказала: "Знаете, когда вы ушли, я поняла, что со мной делается. Я вызвала зятя, он пришел, мы примирились". Я ей дал разрешительную молитву и причащение.

Но нельзя рассчитывать, что причащение тебя исцелит автоматически. Мы знаем из

собственной жизни: мы все, не "люди" вообще, а *мы все* причащаемся – и разве можно сказать, что мы делаемся святыми? Мы ведь недостаточно изменяемся...

И таинство елеосвящения не направлено специально на исцеление тела. Если посмотреть на подготовку, видно, что человек должен сначала принести исповедь за всю жизнь. А исповедь всей жизни не означает, что вы принесете список всего, что случилось за прошедшие 60 лет; это означает, что вы проделаете целый путь, расчистите все, что было недолжного. Из молитв на елеосвящении ясно, что мы ожидаем исцеления души, которое, даст Бог, перельется и принесет исцеление и телу. Я думаю, что неверно прибегать к таинству елеосвящения с единственной целью – получить телесное здравие; это не некое "клерикальное лечение", это – подлинное проявление пастырского попечения. В процессе подготовки человека, помогая ему обрести вновь цельность, целостность души и духа, мы, может быть, обнаружим, что он сможет сказать: я чувствую себя настолько преображенным, что мне уже не важно, жив я или умру, получу ли физическое исцеление или нет...

О. С. *Священник приходит к незнакомому и совершенно не подготовленному человеку. Его надо готовить к смерти. Как тогда поступать? Скажем, человек был крещен, но только формально, или, может быть, недавно крещен. То есть в смысле церковном мы "имеем право" доступа, но какой-то внутренней подготовки у него нет. Здесь как действовать?*

М. А. Я думаю, что не надо священнику накидываться на больного хищным зверем и думать: "Вот, я теперь за него возьмусь и то или другое сделаю", а надо, чтобы сначала установились нормальные человеческие отношения между священником и больным. И это возможно, если священник готов посидеть, расспросить больного о его жизни, поделиться своей жизнью, и в рассказе о своей жизни, о своем опыте, о том, что он встречал, сказать нечто наводящее или помогающее. Я несколько раз, общаясь с умирающими, рассказывал им, как моя мать умирала, потому что это *настолько* мне близко, что человек, слушая меня, не мог думать, будто я сказки ему рассказываю для его пользы. И, делясь с человеком тем, что я сам пережил, я ему давал возможность и пережить нечто, чего он не переживал раньше, и понять что-то, и почувствовать, что он может об этих вещах говорить. Очень часто человек тяжело больной или знающий, что над ним смерть висит, боялся об этом говорить, словно опасаясь, что навлечет на себя смерть, если начнет о ней говорить вслух.

Помню, я навещал очень испуганного человека, который противился всякой попытке установить простое, прямое общение. Тогда я прибегнул к такому приему, – я сказал: "Как замечательно, что вам не грозит смерть или серьезное заболевание..." И по ходу разговора стал рассказывать о том, как умирала моя мать. У женщины, с которой я сидел, был рак, как и у моей матери. Мы долго говорили обо всем, что составляло наши с матерью переживания, и в конце концов и эта женщина спросила: "Как вы думаете, я сумела бы встретить смерть так же, как ваша мать?" И тут мы смогли заговорить о ней самой, а не о моей матери.

Очень важный момент: надо ли предупреждать больного о грядущей смерти? Во-первых, надо, чтобы сказал очень близкий человек, а не просто сестра милосердия, доктор или кто попало – по должности. И во-вторых, надо, чтобы тот, кто это скажет не уходил сразу. Легче всего сказать и *бежать*. Я как-то был на съезде докторов, сестер милосердия и студентов-медиков, где обсуждался этот вопрос, и одна старшая сестра описывала, что она делает в таких случаях. Она говорила: я прихожу и сообщаю больному, что иного исхода, кроме смерти, нет. Человек на меня смотрит с ужасом, и я сразу говорю ему (по ее словам, "чтобы как-то разрядить обстановку"): "Вот, я сейчас вам приготовлю хорошую чашку чая, и мы с вами посидим, поговорим", – и ухожу... И человек, которому нанесли этот страшный удар, – потому что редко кто ждет смерти, как ее ждал апостол Павел, ждут святые – остается лицом к лицу со смертным приговором, а сестра милосердия будет подольше возиться с чаем, чтобы вернуться только тогда, когда будет немножко легче. Вот этого никогда никто не смей делать! В таких случаях надо, как я сказал, сесть и побыть с человеком, и только тогда уйти, когда

что-то развязалось внутренне. Когда скорбь стала общая, когда любовь победила, когда надежда на какой-то срок времени в руках, – тогда можно уйти. Но к этому надо возвращаться.

Так что один человек другому *может* помочь. Конечно, так не всегда бывает. Во-первых, надо уметь сказать, во-вторых, надо уметь побыть, в-третьих, надо, чтобы человек, кому ты это скажешь, был готов к тому, что ты говоришь. Не всякому можно бросить в лицо смертный приговор. Иногда, зная это, приходится, не прибегая ко лжи, *постепенно* готовить человека к тому, что физическая смерть придет, но – "разве наши отношения могут умереть?" Ветхий Завет говорит: *Любовь, как смерть, крепка*; а в Новом Завете мы можем сказать: любовь крепче *всякой* смерти... – и только тогда сообщить больному, что смерть действительно идет, когда он подготовлен.

Часто бывает, что больной давно уже догадался умом или в своем теле знает с совершенной уверенностью о грядущей смерти, а родные лгут: "Ах, как ты сегодня хорошо выглядишь!" или: "У тебя голос сейчас совершенно иной!" и т. п. А выйдут за дверь – и плачут. А больной отлично все это чувствует, петому что мы совершенно иным голосом говорим правду или лжем сознательно. В такой лжи есть преувеличение, есть какая-то особенная напряженность радости, и человек понимает, что все это сплошная ложь.

Поэтому когда человек тебе говорит: "Я чувствую, что умираю", можно ему ответить: "Знаешь, мы все под Богом ходим. Сейчас – нет, ты не умираешь, но, возможно, впереди смерть..." Или еще что-нибудь иное сказать, в зависимости от того, с кем ты говоришь. Но мне кажется, страшно важно не замкнуть человека в абсолютное отчаяние одиночества. Если окружающие все время будут говорить больному, что перед ним только жизнь, десятки лет впереди, в то время как сам он чувствует, что жизнь течет из него, как из раны течет кровь – он не может докричаться до другого человека, который отказывается слышать, и остается замурованность. Больной как бы замурован один в тюремной клети, ему некуда уйти, ему остается только смотреть на грядущую смерть и на все, что в его прошлом является мучительным злом или чем-то недоделанным. И вот эти два момента очень важны, мне кажется.

А у священника своя роль. Не обязательно, я бы даже сказал, лучше, чтобы не он сообщал больному о смерти (разве что больной – его личный друг, но тогда это в другом плане происходит). Иначе больной в священнике всегда будет видеть профессионала, то есть человека, который пришел ради того, чтобы выполнить какую-то задачу. А нужно, чтобы сказал о смерти самый близкий человек, не обязательно тот *или* другой, а именно самый близкий. Это может быть друг, это может быть жена, это может быть брат, сын, дочь, кто угодно, – тот, кто самый близкий, и кто останется, кто будет при больном все время.

Я помню ужасный случай. Близкий мне человек умирал; мне не сказали ни о его болезни, ни о том, что грядет смерть. Меня вызвали, когда он был уже без сознания: "Отец Антоний, ты можешь причастить Мишу?" – "Нет, не могу больше причастить: он глотать уже не может. Почему вы меня не позвали раньше?!" – "Мы побоялись. Понимаешь, на тебе черная ряса"... А мы были друзьями двадцать лет, он меня видел в черной рясе сколько угодно, и он меня не боялся... И человек ушел, потому что его "пожалели". А он давно знал, конечно, что умирает, потому что это состояние приходит не в одно мгновение.

О. С. *Мы уже много говорили о том, как действует священник при постепенном, медленном умирании человека. Но ему придется иметь дело и с экстремальными ситуациями – война, авария, – когда неожиданно умирает человек, может быть, незнакомый, но нуждающийся в поддержке, как никогда прежде...*

М. А. Большей частью самая страшная для умирающего мысль – та, что он отходит, умирает *одиноко*. То есть: он был частью общества, семьи, жизни, а теперь вдруг настала смерть, и ему никто не может помочь. И мне кажется, что очень важно священнику (а если

священника нет, то любому человеку, даже неверующему) подойти и дать умирающему почувствовать, что он не один. Когда человек в таком состоянии, то священник или близкий друг должен считать, что *этот* человек – единственный на свете, и ему отдать все внимание и все время. И тут я хочу дать пример.

В начале войны я был хирургом в полевом госпитале, и в моем отделении умирал молодой солдат. Я его, конечно, посещал днем; а в какой-то вечер подошел, взглянул на него, и мне стало ясно, что он не жилец. Я его спросил: "Ну, как ты себя чувствуешь?" Он на меня взглянул глубоко, спокойно (он был крестьянин, поэтому в нем была такая тишина полей, тишина лесов, тишина неспешной жизни) и сказал: "Я сегодня ночью умру". Я ответил: "Да, сегодня ты умрешь. Тебе страшно?" – "Умирать мне не страшно, но мне так жалко, что я умру совершенно один. Умирал бы я дома – при мне были бы и жена, и мать, и дети, и соседи, а здесь никого нет..." Я говорю: "Нет, неправда, – я с тобой посижу". – "Ты не можешь просидеть со мной целую ночь". – "Отлично могу!" Он подумал, сказал еще: "Знаешь, даже если ты будешь здесь сидеть, пока мы разговариваем, я буду сознавать твое присутствие, а в какой-то момент я тебя потеряю и уйду в это страшное одиночество в момент, когда страшнее всего – умирать". Я ответил: "Нет, не так. Я с тобой рядом сяду. Сначала мы будем разговаривать, ты мне будешь рассказывать о своей деревне; дашь мне адрес своей жены. Я ей напишу, когда ты умрешь; если случится, навещу после войны. А потом ты начнешь слабеть, и тебе будет уже невозможно говорить, но ты сможешь на меня смотреть. К тому времени я тебя за руку возьму. Ты сначала будешь открывать глаза и видеть меня, потом закроешь глаза и уже меня видеть не сможешь, уже не будет сил открывать их, но ты будешь чувствовать мою руку в своей руке или свою руку в моей. Постепенно ты будешь удаляться, и я это буду чувствовать, и периодически буду пожимать твою руку, чтобы ты чувствовал, что я не ушел, я здесь. В какой-то момент ты на мое пожатие руки ответить не сможешь, потому что тебя здесь уже не будет. Твоя рука меня отпустит, я буду знать, что ты скончался. Но ты будешь знать, что до последней минуты не был один". И так и случилось.

Это один из целого ряда примеров. Я сидел, как правило, с каждым умирающим в нашей больнице, не только своего отделения, но и других отделений, и каждый раз повторялась пусть не та же картина, но то же взаимное отношение: "нет, ты не один".

Другое, что я хотел сказать: человек как будто теряет сознание задолго до того, как умирает. И никогда не должны ни врач, ни сестра милосердия, – никто вокруг него – думать, будто потому что он не может с ними общаться, он не воспринимает то, что вокруг происходит. Когда я был студентом первого курса медицинского факультета и впервые работал в больнице, там, помню, умирал русский казак. На обходе старший врач остановился у его постели и сказал: "Ну, его и осматривать не стоит, он уже ушел", – и прошел дальше. Этот человек очнулся. Мы с ним говорили по-русски, поэтому он меня знал, и он мне сказал: "Знаешь, когда ты врачом будешь, *никогда* при умирающем не говори, что не стоит на него обращать внимания, потому что *он-то* тебя слышит, если даже ты не можешь его как-то воспринимать".

У меня был другой случай, тоже во время войны. Попал в больницу раненый немец. Там был молодой протестантский пастор, который, пока тот еще мог воспринимать слово и разговор, читал ему вслух отрывки из Евангелия, с ним молился. Как-то этот молодой пастор вышел из его комнаты в слезах, наткнулся на меня и говорит: "Какой ужас! Этот человек умирает, я больше *ничего* для него не могу сделать". – "Почему?" – "У нас прекратился разговор, он потерял сознание". Я ему, выразившись очень резко, сказал: "Знаешь что, садись рядом с ним и читай вслух Евангелие на его родном немецком языке, начиная с воскрешения Лазаря". И этот молодой пастор в течение трех суток проводил целые дни и часть ночи при нем, то читал, то молчал, и так прочел ему все четыре Евангелия. В какой-то момент этот умирающий открыл глаза и сказал: "Спасибо, что вы читали. Я отозваться не мог, но каждое слово до меня дошло, и я вошел в новую жизнь"...

Это опять-таки священник должен знать. Причем делать это должен не обязательно

священник; это может делать кто угодно, способный уделить свое время тому человеку, у которого времени очень мало.

У нас здесь был певец с замечательным басом, удивительной простоты человек. Он был, что называлось в прежней России, мещанин, среднего класса человек без особенного образования, пел в церкви всю жизнь. Он заболел раком, его взяли в больницу, я его посещал каждый день, и видно было, как он постепенно уходит. Вначале мы с ним разговаривали и молились вслух, и он пел со мной молебен или говорил молитвы. Потом он стал их слушать. Наконец, в какой-то день, когда я пришел, мне старшая сестра говорит: "Какой ужас! Его жена и дочь, которые в течение целого года отсутствовали, приехали сегодня, а он уже потерял сознание, умирает, они даже не могут с ним проститься". Я подошел, сказал, чтобы дочь села рядом с матерью, стал на колени рядом с Павлом Васильевичем и начал петь песнопения Страстной седмицы и Пасхи. Я не певец, но в какой-то мере то, что я пел, было похоже на то, что поют в церкви. И знаете, можно было видеть, как постепенно к нему возвращается сознание, как это потонувшее сознание начинает всплывать на поверхность. И в какой-то момент он открыл глаза. Я ему сказал: "Павел Васильевич, вы при смерти. Ваша жена и дочь приехали, проститесь с ними". Они простились, потом я его перекрестил и сказал: "А теперь, Павел Васильевич, умирайте спокойно". Он погрузился в забытье и умер.

О. С. *В случае с солдатом ты еще не был священником. Как бы ты действовал, если бы уже был священником? Изменились бы твое отношение и действия?*

М. А. Нет, я сделал бы то же самое. Он во мне не нуждался как в священнике, потому что он был католик, и там был местный католический священник, навещавший раненых, поэтому пастырской ответственности у меня не было.

Если бы случилось, что он умирал на поле битвы или в таком положении, где до священника его вероисповедания не добраться, я бы его спросил: "А ты верующий?" Если да, то я ему предложил бы молиться вместе. Если нет, я ему сказал бы: "Знаешь, в течение всей нашей теперешней встречи я буду молиться тому Богу, в Которого я верю". Вот и все.

Если бы он меня попросил его причастить и не было бы возможности ему причаститься в своей Церкви, я думаю, что умирающего я причастил бы. У меня был спор с одним священником Греческой Церкви, который мне сказал: "В таком случае вы не православный, вы еретик. Как вы смеете давать Святое Причастие неправославному человеку, не заставив его отречься от его прежней веры?!"

О. С. *Это очень важный вопрос...*

М. А. Я согласен, что это очень важный вопрос. Но я думаю, что *нельзя* пользоваться тем, что человек при смерти, чтобы заставить его отречься от той веры, которая вдохновляла его всю жизнь, которая ему дала Христа. И с другой стороны, если человек с готовностью, с полной открытостью сердца скажет: "Да, я верю, что причащением Святых Тайн ко мне приходит Спаситель Христос, что через Святые Тайны в меня вливается Божественная жизнь", – я не усомнился бы его причастить. Богословски я могу быть прав или неправ, но опыт пяти лет на войне мне показал, что перед лицом реальной смерти стираются многие границы; лицом к лицу со смертью человек вырастает в такую меру, какой он не знал раньше. Я не говорю, что он делается героем, я только говорю, что лишь перед лицом смерти человек может познать свое человеческое достоинство и величие. Отцы Церкви говорили: "Имей память смертную". Это не значило, как многие сейчас понимают: "всю жизнь думай, что за плечами смерть, – как страшно!" Отцы говорили о другом: о том, что если ты не живешь всем своим существом, всей душой, всем мужеством своим, с готовностью даже умереть, то ты живешь только полужизнью. Французский писатель Рабле раз написал приятелю: "Я готов стоять за свои убеждения до виселицы – исключительно". Это значит, что он не готов был стоять за них.

О. С. *Мы дошли до очень важного момента. Я спрашивал насчет действий священника: как быть, если нельзя употреблять слова. Но все-таки молитва – не простое слово. Как можно с таким человеком молиться, если нет запасных Святых Даров? как лучше всего молиться? простыми молитвами экспромтом, чтобы как-то яснее было тому, кто умирает и, может быть, приходит уже в совершенно бессознательное состояние?*

М. А. Я думаю, что надо молиться из глубин своего сердца, то есть со всей возможной правдивостью, так, чтобы молитва, с одной стороны, была как бы предношением этого человека перед лицом Божиим, с другой стороны – могла дать форму тем чувствам, которые этот человек неминуемо испытывает.

Я когда-то видел фотографию доктора Швейцера, который был миссионером и врачом в Африке, и картина меня захватила. Он стоит с очень значительным лицом, и перед ним маленькая негритянка держит на руках и поднимает к нему малюсенького ребенка. Она ничего не говорит, но она смотрит ему в глаза так, будто говорит: "Мой ребенок страдает, мой ребенок может умереть, а ты – *все* знаешь, ты можешь его спасти. Я тебе его отдаю, возьми его и верни мне здоровеньким..." Мне кажется, что этот образ, эта картина говорит о том, что называют заступнической молитвой. Такая молитва заключается не в том, чтобы Богу твердить: "Сделай, сделай, сделай... сделай...", а в том, чтобы в свое сердце взять этого человека, и стоять перед Богом, и его держать перед Господом и говорить: "Господи, я *Тебе* его вручаю, без условий, без ограничений, со *всей* (пусть малой) верой, какая во мне есть, ради Твоей любви к нему и ради того, что Ты можешь над ним совершить то, что ему нужно".

Это первое, что мы должны сделать в таком случае, о котором ты говоришь. Умирает человек (потому ли, что на него наехала машина, или потому, что его из пулемета ранило насмерть) – ты его первым делом должен взять, принять в себя, не защищаясь против его страхов, его боли, его непонимания, и держать перед лицом Божиим. А второе: ты можешь помочь ему, уже лично, если будешь молиться такими словами, которые для него что-то открывают. Если ты возьмешь молитвенник или служебник и будешь вычитывать "Канон на исход души" на славянском языке, это не дойдет до человека. А если ты просто будешь как бы говорить с Богом... Например: "Господи, вот мы оба перед Тобой. Мы оба стоим перед лицом смерти (в случае войны совершенно ясно, что не только раненый, но и здоровый стоит перед лицом смерти). Вот умирает человек, которого Ты создал, которого Ты вызвал из небытия по Своей любви, Ты в него поверил. Ты вручил ему жизнь, а теперь Ты ему даешь эту жизнь завершить подвигом отдачи этой жизни за ближних своих, за друзей, за Родину..." Я не хочу сказать, что надо молиться точно такими словами, – но в таком настроении. И затем, если ты успел перемолвиться несколькими словами с раненым или умирающим и как-то почуять, насколько он верит, во что он верит, в зависимости от этого его веру как бы выразить с большей силой, чем он может в данную минуту это сделать.

О. С. *А если веры нет?*

М. А. Если веры нет, ты можешь сказать: "Ты не веришь, а я верю. Я буду с моим Богом говорить, а ты послушай, как мы друг с другом разговариваем..." И если это сделать, то часто бывает, что до человека *доходит*. Я не могу логически это объяснить. Редко-редко бывает, чтобы умирающий пожал плечами и сказал: "Уходите со своим Богом!.."

Но тут, раньше чем дойти до Бога, мы непременно должны показать наше человеческое сострадание, близость, показать, что мы родные ему, что он нам родной.

О. С. *В конце концов из всего этого вытекает важное правило: даже если человек неверующий, молиться можно и даже нужно?*

М. А. Да, я уверен, что молиться надо, но не так, чтобы молитва была ему оскорблением. Если человек скажет: "Только не говорите мне о Боге!" – молчи. У тебя есть сердце, у тебя есть ум, ты можешь предстоять перед Богом и держать этого человека перед Богом. Но навязывать Бога в смертный час человеку, когда тот от Бога отрекается сознательно, просто жестоко.

О. С. *Мимоходом у меня возникла мысль по поводу славянского языка. Человек лежит на смертном одре и постепенно тихо уходит. Как насчет славянского языка и сложных молитв в таком случае? Они не доходят, может быть?*

М. А. Я думаю, что если просто взять молитвослов и читать готовые молитвы, это не дойдет. Но думаю, что не беззаконно эти тексты читать, во-первых, заменяя непонятные слова понятными, русскими, во-вторых, прибавляя нечто или убавляя, в зависимости от того, кто этот человек, что ты о нем знаешь, – с тем, чтобы молитвенные слова стали молитвой, относящейся *лично* к этому человеку. Потому что все наши службы рассчитаны на всех возможных людей на свете, но ни один человек не представляет собой этого "всевозможного" человека. Поэтому иногда проще изменить некоторые слова, чтобы они были понятны – это раз; а во-вторых, выбирать те молитвы, которые для этого человека могут иметь смысл. Ведь речь идет не о том, чтобы совершить над ним определенный обряд, речь идет о том, чтобы до него дошла церковная молитва, церковная вера, человеческое тепло и любовь, окутанность церковной молитвой. И иногда, если придерживаться просто написанного текста, человек его не может услышать из-за языка, из-за мыслей, которые там есть. Поэтому можно сказать несколько слов из этой молитвы, а потом своими словами их развить. И это *не* грех, это *не* неправда. Я помню письмо Феофана Затворника, где он говорит, что мы должны учиться из молитв святых тем чувствам и мыслям, которые в них заключены. Каждая молитва святого говорит нам о том, как он себе представляет Бога и какое общение у него с Богом было, как он себя видел по отношению к Богу и к собственной совести, какое место он занимал по отношению ко всему сотворенному миру. Все это можно узнать из молитв, и постепенно эти молитвы делаются твоими. Но, с другой стороны, когда ты ими молишься, ты должен вложить в них свой личный опыт Бога, сознание себя самого, личное сознание своего положения в мироздании.

В каком-то отношении можно так сказать: употребляя молитвы святых, мы находимся в положении человека, который прислушивается к музыке великих композиторов. Он воспринимает через музыку только то, на что сам способен, то есть у него дрожат в душе те струны, которые уже способны отозваться на многосложность данной музыки. Но по мере того, как он прислушивается чаще и чаще, его душа делается более чуткой, и в какой-то момент ему не нужна будет музыка, потому что он сможет перейти из звука в молчание или потому, что он воспримет начальные звуки и потом их остановит для того, чтобы ими жить дальше. И Феофан Затворник говорит, что цель употребления молитв святых в том, чтобы потом быть в состоянии переходить не от слова к слову, а из чувства к чувству. Взглянешь на слова – и эти чувства родились в тебе, и ты потом умел бы их своими словами выражать Богу, но на основании тех глубоких, истинных, подлинных чувств, которые святой тебе подсказал.

Это то, что я делаю, например, когда у нас бывают здесь говения. Я провожу одну беседу, потом у нас часовое молчание, потом вторая беседа, другое молчание, и затем общая исповедь. На общей исповеди я беру покаянный канон, вычитываю несколько строчек, и потом на основании того, что я читал, перед Богом произношу *свою*исповедь. И потом перехожу к следующим строчкам. И так далее.

И я думаю, что то же самое может происходить, когда молишься над умирающим или над больным. Читаешь несколько строчек или несколько слов; они в тебе вдруг рождают живое чувство, которое ты можешь выразить по отношению к этому больному или умирающему, потому что до тебя "дошло". Знаешь, есть восточное присловье, что если человек стреляет из

лука, он никогда не попадет в мишень, если стрела не пробьет одновременно его сердце. И я думаю, что это очень верное слово. Если то, что ты говоришь, *тебя* не пробивает, то, конечно, оно ни до кого не дойдет. Это относится и к проповеди, и к вычитыванию молитв, к исповеди и к любому нормальному человеческому общению.

О. С. *Ты упомянул исповедь. Мы об этом еще не говорили. Человек умирает. Многие даже нецерковные люди нуждаются в таком исповедальном моменте. Как помочь в этом? как человека подвести к этому моменту, если он не знает, какими словами пользоваться, если он просто не привык к исповеди?*

М. А. Я думаю, что когда времени мало, то нельзя пускаться в полную катехизацию умирающего или больного. Поэтому вопрос стоит так: "Ты сейчас войдешь в вечность. Хочешь ли ты войти в вечность со всем грузом, который ты собрал за свою жизнь? Есть ли такие вещи в твоей жизни – поступки, слова, мысли, – которые ты хотел бы оставить на земле, чтобы они здесь превратились в прах и пыль? Есть ли в твоей жизни такие поступки, такие моменты, которые недостойны тебя самого?..."

Это – минимум. Можно прибавить, в зависимости от того, кто этот человек: "Есть ли такие вещи, которые тебя заставляют стыдиться перед Богом и думать: как я перед Ним встану, когда я к Нему *так* в течение жизни отнесся?.. Так вот, раньше чем ты уйдешь в вечность, сними с себя эту тяжесть. Скажи: от таких-то и таких-то моих поступков я отрекаюсь; такие-то слова я сейчас не хотел бы произнести; если бы я мог их стереть с доски моей памяти, я бы это сделал. По отношению к Богу – я все время на Него ссылался, и все время Его обманывал, унижал, оказывался Ему неверным. По отношению к людям – я знал, как Бог любит людей, а я относился к ним, будто Бог ни при чем, будто я – бог..." Все это человек может выразить в нескольких словах; и если не может говорить вслух, он может внутренне сказать Богу: "От всего того, в чем я оказался недостойным ни своего человечества, ни себя, ни родных, ни Тебя, ни людей, которые меня любили, – от всего этого я отрекаюсь, прости!" Это может занять одно мгновение, потому что немного времени нужно, чтобы стряхнуть все это.

О. С. *Если человека верующего, православный он или нет, можно причащать, видимо, можно и разрешительную молитву какую-нибудь дать вкратце?*

М. А. Да, можно помолиться о том, чтобы Господь простил этому человеку все его прегрешения. Формулы бывают разные. Бывает формула, которую мы употребляем: "И аз, недостойный иерей такой-то, властию мне данной прощаю и разрешаю тебя от грехов твоих". Есть просительная формула, которую употребляет Греческая Церковь: "Господи, прости ему все его прегрешения". Есть древняя формула, где говорится: "Прости, Господи, все грехи, в которых он искренне покаялся"... При смерти я бы не употреблял эту последнюю формулу, потому что она может показаться слишком страшной человеку; но я помолился бы: Господи, Ты Свою жизнь отдал для того, чтобы спасти этого человека, – спаси!

О. С. *Как священнослужитель должен помочь не только умирающему, но и его близким, которые, может быть, не вполне церковные люди и потому не очень подготовлены?*

М. А. Я думаю, что надо подарить им как можно больше своего времени. Нельзя прийти "профессионально", с ними поговорить и уйти. Надо прийти и с ними побыть, и дать им возможность просто говорить на житейские темы (часто, когда у человека перед глазами страх, ему хочется поговорить о пустяках). А постепенно ты сможешь обратиться к основной теме: да, жизнь течет, жизнь продолжается, а в сердцевине жизни происходит что-то очень серьезное, – и происходит это и с вами, и с дорогим вам человеком, который умирает... И говорить надо в первую очередь о том, что любовь не может быть побеждена смертью, чтобы

никогда никто *не смел* говорить: "мы друг друга любили", а только "мы друг друга *любим* во веки веков". Я это говорил несколько раз на похоронах: не говорите "мы любили", говорите "мы *любим* друг друга"; потому что человек уходит в вечность, содержание которой – *любовь* и ничто другое. И вы можете врасти в эту вечность тем, чтобы в вас любовь не только не умирала, но углублялась, утончалась, делалась более светлой. А для того, чтобы это случилось, подумайте: что вас от этого человека отделяет, что в течение многих – или немногих – лет, которые вы провели вместе, являлось как бы тенью в этой любви. И спешите разрешить все существующие проблемы: трудности характера, неприятности, озлобление, раздражение, мало ли что бывает между людьми в течение жизни, – бывают и очень серьезные проблемы. И продумайте, что у вас на совести (или у него, у нее может быть на совести), что между вами стоит преградой к тому, чтобы любовь *ликующе* текла между вами. И эти проблемы разрешайте не каким-то деловым образом; не приходите со словами: "теперь давай продумаем наше прошлое с тем, чтобы наше настоящее стало чисто и светло", а постепенно, разрешая одну проблему за другой.

Можно сказать: "Я так жалею о том, как я с тобой говорил на этих днях..." Или: "Я так жалею, что столько лет тому назад мы друг друга не поняли в момент, когда это могло сыграть такую важную роль и нас соединить". Мало ли что можно сказать, – я даю только жалкие примеры. И так постепенно можно очистить в себе и в другом человеке всю область потемок, или несовершенства в любви, или его страха. Страха: "а вдруг меня в конечном итоге недолюбят, и мне придется умирать одному, именно в сознании, что я один, они со мной не идут в вечность". Об этом можно говорить с очень простыми людьми. Может быть, разными языками, но на *их* языке, потому что язык любви, привязанности, света, тьмы понятен каждому человеку. И так можно постепенно готовить окружающих к тому, что смерть – не последнее слово: если вы сумеете любить до конца, то ваша любовь не умрет.

И еще можно говорить о том, что будет дальше. Меня очень поражает на похоронах или на панихидах (я всегда об этом говорю перед службой или во время нее): вот, мы собрались здесь. Что нас привело стоять вместе у этого гроба или у панихидного столика? Любовь. Любовь, которая не умерла со смертью любимого человека...

О. С. *Разлука с человеком всегда более приемлема, когда есть длинная болезнь или старость, ведущие к смерти. Но когда авария, особенно когда умирает молодой человек или младенец – как тогда можно поддержать родителей, как помочь пережить первоначальный шок?*

М. А. Первое, что я думаю: не надо пробовать утешить человека пустыми словами. Я помню, как к одной нашей прихожанке, у которой умер ребенок, пришел молодой священник и сказал: "Я *так* понимаю ваше горе!.." Она, человек правдивый и резкий, обернулась к нему и сказала: "Не лгите! Вы никогда не были матерью и никогда не теряли ребенка, – вы ничего не понимаете в моем горе!" И он остановился и сказал: "Спасибо вам за это..." Вот эту ошибку никто не смей делать. Чужого горя никто понять не может, дай Бог свое горе понять, как-то уловить, овладеть им.

Сказать можно, например: "Подумайте о том, что это молодое существо умерло в полном расцвете всех сил души, ума, в полной чистоте. Этот человек как бы вспорхнул в вечность, и теперь у вас предстатель, ангел-хранитель перед Богом, который покрывает вас своей молитвой, к которому вы можете обратиться как бы с разговором и с радостью о том, что когда-то будет встреча..." Невозможно дать сейчас достаточно примеров по количеству людей и типам обстоятельств.

О. С. *Когда скончался Лазарь, Иисус плакал. Как относиться вообще к слезам, когда утешаешь людей?*

М. А. Слезы – дар Божий. Никогда не надо мешать им течь. В этом рассказе Спаситель плакал о том, что Лазарь должен был умереть, потому что мир во зле лежит и всякий человек смертей из-за того, что грех владеет миром. Христос тут плакал, я думаю, о Своем друге Лазаре, и в более широком смысле – об этом ужасе: Бог дал всей твари вечную жизнь, а человек грехом ввел смерть, и вот светлый юноша Лазарь должен умереть, потому что когда-то грех вошел в мир. Так что люди имеют право плакать над тем, что смерть скосила любимого, плакать о том, что они остались сиротами. И никто не смей им мешать плакать, это их право. Но между слезами и истерикой или плачем без веры есть громадная разница.

О. С. *Есть тоже опасность, что человек, горюя, начинает любоваться: мол, он так любил усопшего, что продолжает месяцами, годами даже, плакать и горевать...*

М. А. Я думаю, что, с одной стороны, абсолютно справедливо, чтобы человек до конца своей жизни плакал о разлуке, о том, что больше нет возможности обнять любимого, слышать его голос, видеть его взор, поделиться с ним тем, что на душе самого светлого или мучительного. В этом смысле всю жизнь можно пронести скорбь, но не истерическую, не бунтующую скорбь, а тихую, углубленную скорбь: да, было бы так дивно, если можно было бы продолжать старые отношения, старую дружбу, старое общение (которое никогда не умирает в моей душе, – сказал бы этот человек).

Но с другой стороны, человек не должен как бы искусственно подогревать в себе скорбь и драматическое чувство о смерти другого, считая, будто их отсутствие доказывает, что он не любил. Скорбь должна как бы перелиться в другое: в любовь, которая не кончается, в сознание: я тоже иду по этому пути, мне тоже придет время умирать, и какая тогда будет радость встречи!.. Тогда скорбь просветляется.

О. С. *Часто у скорбящих возникает протест, особенно если умирают малолетние: почему он или она, почему теперь, так рано?.. Как утешать таких людей?*

М. А. Я думаю, как во всех случаях болезни или смерти, первым делом – утешать состраданием и тем, чтобы не стараться убедить людей, будто "все это хорошо", – все это очень болезненно и очень трагично и очень мучительно, – и с ними этот путь проходить.

С другой стороны, мы знаем, что иногда смерть ребенка освобождает его от большего, чем смерть, ужаса. Из обычной жизни мы знаем, что сейчас происходит в разных частях света: дети бывают ранены, у детей отрубают руки, дети слепнут, дети бывают поражены в спинной хребет и остаются парализованными... И иногда думаешь: как счастливы те дети, которым, как говорит Священное Писание, было дано "вкусить мало меда" и вспорхнуть в вечность.

Не помню, в жизни кого из русских святых был случай. Одна мать убивалась горем и гневом на Бога за то, что умер ее ребенок. Она обратилась к кому-то из подвижников, и тот сказал: "Я помолюсь, чтобы Господь тебе дал понять". И она во сне видит, как Христос к ней подошел и сказал: "Я тебе покажу, какова была бы судьба твоего сына, если бы он не умер..." И она увидела, как он растет, постепенно портится, кончает разбойником, убийцей, и проснулась с криком: "Нет, Господи, лучше ему умереть!"

Конечно, нет смысла это рассказывать человеку, который только что потерял ребенка, – это звучит жестоко; но со временем можно поговорить и о том, что, может быть, смерть спасла этого ребенка от чего-то более страшного, чем разлука с временной жизнью.

О. С. *Мне это кажется сомнительным подходом. Когда я пробовал так говорить, я никого не убеждал, может быть, потому, что сам не был убежден. Я знаю, что такой подход есть, но думаю, что самое главное – вот это сочувствие, сострадание...*

М. А. Человеку нужно, чтобы ты с ним был в его горе, *на дне* этого горя вместе с ним, и не убеждал его, что горя нет или что он неправ, горюя. И надо дать время благодати и внутреннему опыту человека что-то сделать.

О. С. *Наконец совсем другой вопрос. Человек умирает, и ему страшно по явным причинам. Но и священнику может быть страшно, особенно молодому, который еще не переживал того, что происходит. Как ему себя держать, как ему с собой справиться, чем укрепиться? В конце концов, он тоже трепещет, зная, что времени мало, что это ужасно важный момент и в жизни умирающего и в его, священника, жизни...*

М. А. Я думаю, что надо иметь одно правило через всю жизнь: что единственный миг, которым ты обладаешь – теперешний миг. Ты никогда не можешь рассчитывать на то, что через мгновение успеешь еще что-нибудь сделать. Священник, опытный или неопытный, должен знать: он сейчас стоит в вечности, в которой время не течет; но время течет на земле, и поэтому он может стать и, не считаясь с течением времени, делать то, что нужно. Иногда можно сказать одно-единственное слово и человека спасти, иногда можно сказать целую речь – и до человека не дойдет.

Ты поставил целый ряд вопросов о том, как священнику с собой справляться. С собой ему некогда справляться. Если он заглядится на себя, то ему некогда заботиться о другом. Поэтому в момент, когда происходит трагедия, он должен просто сказать: о себе я буду думать позже, я буду разбирать свои переживания, когда я уже не буду нужен этому человеку...

Я могу дать пример из другой области. Когда хирург оперирует больного, раненого, ему некогда думать о себе, он должен забыть про себя и всецело уйти в свою работу. Причем "забыть про себя" означает, что сейчас идет обстрел, а он в состоянии сказать: убьют меня или не убьют – мне до этого никакого дела нет, я занят *этим*человеком... Надо себя так прошколить. Конечно, это не всегда и не в каждый момент удается. Есть моменты, когда ты себя вспомнишь, но тогда можно сказать: Отойди вон, ты мне мешаешь делом заниматься!.. И этому надо научиться. Молодой хирург тоже в таком положении.

О. С. *Вот об этом и идет речь: как насчет человека, который еще не успел дойти до такого отношения, который, скажем, впервые встречается со смертью?*

М. А. Он должен тогда все свое внимание, через возбуждение в себе сострадания и понимания, обратить к этому человеку. Если за него болеть душой, если его жалеть, если думать: "У меня нет слов, нет знаний, но у меня есть ласка, у меня есть тепло, я этим могу поделиться", если не искать умных формулировок, не искать каких-нибудь доводов, а просто пожалеть и приласкать – все сделано.

О. С. *Со смертью умирающего кончаются обязанности священника. Я говорю "обязанности", как будто это должность какая-то; но он может и дальше действовать. Во-первых, поминать покойника, если запомнит его имя, на службах и вообще в молитвах. Но если есть родственники, близкие, он может и должен их посещать и успокаивать. Какие тут советы?*

М. А. Во-первых, он никогда не должен ставить себя в положение учителя. Не надо делать вид, будто потому что ты священник, ты понимаешь то, чего никогда сам не испытывал. Это раз. Второе: у тебя должно быть собственное отношение к смерти. И это одна из задач нашей христианской жизни: привыкнуть к мысли о смерти, знать, что она есть, знать, как ты к ней относишься. Скажем, апостол Павел говорил, что ждет свою смерть, потому что только через смерть он соединится со Христом без телесных, вещественных преград. И тут же он прибавляет: однако, для вас нужнее, чтобы я остался в живых, поэтому я буду дальше жить...

Вот предел. Если бы мы действительно мечтали о живой встрече с Богом, не о встрече через веру, через мгновенные переживания, а о постоянном приобщении Ему, то мы могли бы мечтать о смерти, жаждать смерти, и одновременно быть готовыми не умирать *ради* Христа.

О. С. *А как можно такое отношение передать?*

М. А. Видишь ли, для того, чтобы передать что-то, надо в себе это носить. Я потому настаиваю на этой стороне, что критерий того, христиане мы или нет – наше отношение к собственной смерти, к смерти дорогих нам людей. Если мы созрели в какой-то мере или если мы в процессе созревания, можно человеку сказать: "Да, это страшная утрата, но он ушел от вас к Богу, Который его так полюбил, что вызвал его из небытия, а теперь призвал к Себе, чтобы он был с Богом неразлучно. И если вы хотите, чтобы смерть вашего родного не была разлукой, то вы должны перенестись молитвой, духом, опытом в область Божию. Он вам показал путь, по которому вам надо идти. Если вы хотите с ним быть, вы должны быть там, где он есть, то есть с Богом" (конечно, я не говорю, что надо в таких резких словах выражать эту мысль).

И с другой стороны, очень помогает потерявшим родного наша панихида. В ней содержатся самые разные моменты. Святитель Феофан Затворник начал одно отпевание словами: "Братья и сестры, давайте плакать, потому что ушел от нас любимый человек, но давайте плакать как верующие..." Мы плачем над усопшим, потому что человек не призван к тому, чтобы умереть, – человек призван к вечной жизни. Смерть вошла в жизнь через человеческое отпадение от Бога, поэтому смерть как таковая – трагедия. С другой стороны, она – освобождение. Если бы надо было жить, никогда не умирая, в той ограниченности земной жизни, которую мы знаем, был бы неизбывный кошмар. Поэтому, скажем, в отпевании повторяются слова псалма: *Блажен путь, которым идешь сегодня, душа, ибо тебе приготовлено место упокоения...* Эти слова обращены от имени Церкви к усопшему, но и к тем, кто их слышит. И есть целый ряд мест в службе, где усопший как бы говорит: *Не рыдайте обо мне...*

Смерть

Беседы в Лондонском приходе (апрель-май 1984 г.). Пер. с англ. и подзаголовки Е. Л. Майданович

Меня просили сказать нечто о смерти – о подготовке к ней и о том, как можно думать о смерти и встречать ее. В завершение я хотел бы поговорить о некоторых обрядах Православной Церкви, связанных со смертью, о том, что происходит с телом усопшего и как мы относимся к этому телу, которое было проводником всего, что делала душа.

Память смертная

Для начала я хотел бы попытаться рассеять отношение к смерти, которое выработалось у современного человека: страх, отвержение, чувство, будто смерть – худшее, что может с нами произойти, и надо всеми силами стремиться выжить, даже если выживание очень мало напоминает настоящую жизнь.

В древности, когда христиане были ближе и к своим языческим корням, и к волнующему, потрясающему опыту обращения, к откровению во Христе и через Него Живого Бога, о смерти говорили как о рождении в вечную жизнь. Смерть воспринималась не как конец, не как окончательное поражение, а как начало. Жизнь рассматривалась как путь к вечности, войти в которую можно было открывшимися вратами смерти. Вот почему древние христиане так часто напоминали друг другу о смерти словами: *имей память смертную*, вот почему в

молитвах, которые, как драгоценное наследие, передал нам Иоанн Златоустый, есть строки, где мы просим Бога дать нам *память смертную*. Когда современный человек слышит подобное, он обычно реагирует неприятием, отвращением. Означают ли эти слова, что мы должны помнить: смерть, точно дамоклов меч, висит над нами на волоске, праздник жизни может трагически, жестоко окончиться в любой момент? Являются ли они напоминанием при всякой встречающейся нам радости, что она непременно пройдет? Значат ли они, что мы стремимся омрачить свет каждого дня страхом грядущей смерти?

Не таково было ощущение христиан в древности. Они воспринимали смерть как решающий момент, когда окончится время делания на земле, и, значит, надо торопиться; надо спешить совершить на земле все, что в наших силах. А целью жизни, особенно в понимании духовных наставников, было – стать той подлинной личностью, какой мы были задуманы Богом, в меру сил приблизиться к тому, что апостол Павел называет полнотой роста Христова, стать – возможно совершеннее – неискаженным образом Божиим.

Апостол Павел в одном из Посланий говорит, что мы должны дорожить временем, потому что *дни лукавы*. И действительно, разве не обманывает нас время? Разве не проводим мы дни своей жизни так, будто наскоро, небрежно пишем черновик жизни, который когда-то перепишем начисто; будто мы только собираемся строить, только копим все то, что позднее составит красоту, гармонию и смысл? Мы живем так из года в год, не делая в полноте, до конца, в совершенстве то, что могли бы сделать, потому что "еще есть время": это мы докончим позднее; это можно сделать потом; когда-нибудь мы напишем чистовик. Годы проходят, мы ничего не делаем, – не только потому, что приходит смерть и пожинает нас, но и потому, что на каждом этапе жизни мы становимся неспособными к тому, что могли сделать прежде. В зрелые годы мы не можем осуществить прекрасную и полную содержания юность, и в старости мы не можем явить Богу и миру то, чем мы могли быть в годы зрелости. Есть время для всякой вещи, но когда время ушло, какие-то вещи уже осуществить невозможно.

Я не раз цитировал слова Виктора Гюго, который говорит, что есть огонь в глазах юноши и должен быть свет в глазах старика. Яркое горение затухает, наступает время светить, но когда настало время быть светом, уже невозможно сделать то, что могло быть сделано в дни горения. Дни лукавы, время обманчиво. И когда говорится, что мы должны помнить смерть, это говорится не для того, чтобы мы боялись жизни; это говорится для того, чтобы мы жили со всей напряженностью, какая могла бы у нас быть, если бы мы сознавали, что каждый миг – единственный для нас, и каждый момент, каждый миг нашей жизни должен быть совершенным, должен быть не спадом, а вершиной волны, не поражением, а победой. И когда я говорю о поражении и о победе, я не имею в виду внешний успех или его отсутствие. Я имею в виду внутреннее становление, возрастание: способность быть в совершенстве и в полноте всем, что мы есть в данный момент.

Ценность времени

Подумайте, каков был бы каждый момент нашей жизни, если бы мы знали, что он может стать последним, что этот момент нам дан, чтобы достичь какого-то совершенства, что слова, которые мы произносим – последние наши слова, и поэтому должны выражать всю красоту, всю мудрость, все знание, но также и в первую очередь – всю любовь, которой мы научились в течение своей жизни, коротка ли она была или длинна. Как бы мы поступали в наших взаимных отношениях, если бы настоящий миг был единственным в нашем распоряжении и если бы этот миг должен был выразить, воплотить всю нашу любовь и заботу? Мы жили бы с напряженностью и с глубиной, иначе нам недоступными. И мы редко сознаем, что такое настоящий миг. Мы переходим из прошлого в будущее и не переживаем реально и в полноте настоящий момент.

Достоевский в дневнике рассказывает о том, что случилось с ним, когда, приговоренный к смерти, он стоял перед казнью, – как он стоял и смотрел вокруг себя. Как великолепен был свет, и как чудесен воздух, которым он дышал, и как прекрасен мир вокруг, как драгоценен каждый миг, пока он был еще жив, хотя на грани смерти. О, – сказал он в тот миг, – если бы мне даровали жизнь, ни одно мгновение ее я не потерял бы... Жизнь была дарована, – и сколько ее было растеряно!

Если бы мы сознавали это, как бы мы относились друг ко другу, да и к себе самим? Если бы я знал, если бы вы знали, что человек, с которым вы разговариваете, может вот-вот умереть, и что звук вашего голоса, содержание ваших слов, ваши движения, ваше отношение к нему, ваши намерения станут последним, что он воспримет и унесет в вечность – как внимательно, как заботливо, с какой любовью мы бы поступали!.. Опыт показывает, что перед лицом смерти стирается всякая обида, горечь, взаимное отвержение. Смерть слишком велика рядом с тем, что должно бы быть ничтожно даже в масштабе временной жизни.

Таким образом, смерть, мысль о ней, память о ней – как бы единственное, что придает жизни высший смысл. Жить в уровень требований смерти означает жить так, чтобы смерть могла прийти в любой момент и встретить нас на гребне волны, а не на ее спаде, так, чтобы наши последние слова не были пустыми и наше последнее движение не было легкомысленным жестом. Те из нас, кому случилось жить какое-то время с умирающим человеком, с человеком, который осознавал, как и мы, приближение смерти, вероятно, поняли, что присутствие смерти может означать для взаимных отношений. Оно означает, что каждое слово должно содержать все благоговение, всю красоту, всю гармонию и любовь, которые как бы спали в этих отношениях. Оно означает, что нет ничего слишком мелкого, потому что все, как бы ни было оно мало, может быть выражением любви или ее отрицанием.

Личные воспоминания: смерть матери

Моя мать три года умирала от рака. Ее оперировали – и неуспешно. Доктор сообщил мне это и добавил: "Но, конечно, вы ничего не скажете своей матери". Я ответил: "Конечно, скажу". И сказал. Помню, я пришел к ней и сказал, что доктор звонил и сообщил, что операция не удалась. Мы помолчали, а потом моя мать сказала: "Значит, я умру". И я ответил: "Да". И затем мы остались вместе в полном молчании, общаясь без слов. Мне кажется, мы ничего не "обдумывали". Мы стояли перед лицом чего-то, что вошло в жизнь и все в ней перевернуло. Это не был призрак, это не было зло, ужас. Это было нечто окончательное, что нам предстояло встретить, еще не зная, чем оно скажется. Мы оставались вместе и молча так долго, как того требовали наши чувства. А затем жизнь пошла дальше.

Но в результате случились две вещи. Одна – то, что ни в какой момент моя мать или я сам не были замурованы в ложь, не должны были играть, не остались без помощи. Никогда мне не требовалось входить в комнату матери с улыбкой, в которой была бы ложь, или с неправдивыми словами. Ни в какой момент нам не пришлось притворяться, будто жизнь побеждает, будто смерть, болезнь отступает, будто положение лучше, чем оно есть на самом деле, когда оба мы знаем, что это неправда. Ни в какой момент мы не были лишены взаимной поддержки. Были моменты, когда моя мать чувствовала, что нуждается в помощи; тогда она звала, я приходил, и мы разговаривали о ее смерти, о моем одиночестве. Она глубоко любила жизнь. За несколько дней до смерти она сказала, что готова была бы страдать еще 150 лет, лишь бы жить. Она любила красоту наступавшей весны; она дорожила нашими отношениями. Она тосковала о нашей разлуке: *Oh, for the touch of a vanished hand and the sound of a voice that is still* [О, хоть руки прикосновенье! О, хоть услышать голос смолкший... *(А. Теннисон).*]. Порой, в другие моменты мне была невыносима боль разлуки, тогда я приходил, и мы разговаривали об этом, и мать поддерживала меня и утешала о своей смерти. Наши

отношения были глубоки и истинны, в них не было лжи, и поэтому они могли вместить всю правду до глубины.

И кроме того, была еще одна сторона, которую я уже упоминал. Потому что смерть стояла рядом, потому что смерть могла прийти в любой миг, и тогда поздно будет что-либо исправить, – все должно было в любой миг выражать как можно совершеннее и полнее благоговение и любовь, которыми были полны наши отношения. Только смерть может наполнить величием и смыслом все, что кажется как будто мелким и незначительным. Как ты подашь чашку чаю на подносе, каким движением поправишь подушки за спиной больного, как звучит твой голос, – все это может стать выражением глубины отношений. Если прозвучала ложная нота, если трещина появилась, если что-то неладно, это должно быть исправлено немедленно, потому что есть несомненная уверенность, что позднее может оказаться слишком поздно. И это опять-таки ставит нас перед лицом правды жизни с такой остротой и ясностью, каких не может дать ничто другое.

Слишком поздно?

Это очень важно, потому что накладывает отпечаток на наше отношение к смерти вообще. Смерть может стать вызовом, позволяющим нам вырастать в полную нашу меру, в постоянном стремлении быть всем тем, чем мы можем быть, – без всякой надежды стать лучшими позднее, если мы не стараемся сегодня поступить, как должно. Опять-таки Достоевский, рассуждая в "Братьях Карамазовых" об аде, говорит, что ад можно выразить двумя словами: "Слишком поздно!" Только память о смерти может позволить нам жить так, чтобы никогда не сталкиваться с этим страшным словом, ужасающей очевидностью: *слишком поздно*. Поздно произнести слова, которые можно было сказать, поздно сделать движение, которое могло выразить наши отношения. Это не означает, что нельзя вообще больше ничего сделать, но сделано оно будет уже иначе, дорогой ценой, ценой большей душевной муки.

Я хотел бы проиллюстрировать свои слова, пояснить их примером. Некоторое время назад пришел ко мне человек восьмидесяти с лишним лет. Он искал совета, потому что не мог больше выносить ту муку, в какой жил лет шестьдесят. Во время гражданской войны в России он убил любимую девушку. Они горячо любили друг друга и собирались пожениться, но во время перестрелки она внезапно высунулась, и он нечаянно застрелил ее. И шестьдесят лет он не мог найти покоя. Он не только оборвал жизнь, которая была бесконечно ему дорога, он оборвал жизнь, которая расцветала и была бесконечно дорога для любимой им девушки. Он сказал мне, что молился, просил прощения у Господа, ходил на исповедь, каялся, получал разрешительную молитву и причащался, – делал все, что подсказывало воображение ему и тем, к кому он обращался, но так и не обрел покоя. Охваченный горячим состраданием и сочувствием, я сказал ему: "Вы обращались ко Христу, Которого вы не убивали, к священникам, которым вы не нанесли вреда. Почему вы никогда не подумали обратиться к девушке, которую вы убили?" Он изумился. Разве не Бог дает прощение? Ведь только Он один и может прощать грехи людей на земле... Разумеется, это так. Но я сказал ему, что если девушка, которую он убил, простит его, если она заступится за него, то даже Бог не может пройти мимо ее прощения. Я предложил ему сесть после вечерних молитв и рассказать этой девушке о шестидесяти годах душевных страданий, об опустошенном сердце, о пережитой им муке, попросить ее прощения, а затем попросить также заступиться за него и испросить у Господа покоя его сердцу, если она простила. Он так сделал, и покой пришел... То, что не было совершено на земле, может быть исполнено. То, что не было завершено на земле, может быть исцелено позднее, но ценой, возможно, многолетнего страдания и угрызений совести, слез и томления.

Смерть – отделенность от Бога

Когда мы думаем о смерти, мы не можем думать о ней однозначно, либо как о торжестве, либо как о горе. Образ, который дает нам Бог в Библии, в Евангелиях, более сложный. Говоря коротко: Бог не создал нас на смерть и на уничтожение. Он создал нас для вечной жизни. Он призвал нас к бессмертию – не только к бессмертию воскресения, но и к бессмертию, которое не знало смерти. Смерть явилась как следствие греха. Она появилась, потому что человек потерял Бога, отвернулся от Него, стал искать путей, где мог бы достичь всего помимо Бога. Человек попробовал сам приобрести то знание, которое могло быть приобретено через приобщенность знанию и мудрости Божиим. Вместо того, чтобы жить в тесном общении с Богом, человек избрал самость, независимость. Один французский пастор в своих писаниях дает, может быть, хороший образ, говоря, что в тот момент, когда человек отвернулся от Бога и стал глядеть в лежащую перед ним бесконечность, Бог исчез для него, и поскольку Бог – единственный источник жизни, человеку ничего не оставалось, кроме как умереть.

Если обратиться к Библии, нас может поразить там нечто относящееся к судьбе человечества. Смерть пришла, но она овладела человечеством не сразу. Какова бы ни была в объективных цифрах продолжительность жизни первых великих библейских поколений, мы видим, что число их дней постепенно сокращается. Есть место в Библии, где говорится, что смерть покорила человечество постепенно. Смерть пришла, хотя еще сохранялась и сила жизни; но от поколения к поколению смертных и греховных людей смерть все укорачивала человеческую жизнь. Так что в смерти есть трагедия. С одной стороны, смерть чудовищна, смерти не должно бы быть. Смерть – следствие нашей потери Бога. Однако в смерти есть и другая сторона. Бесконечность в отлученности от Бога, тысячи и тысячи лет жизни без всякой надежды, что этой разлуке с Богом придет конец – это было бы ужаснее, чем разрушение нашего телесного состава и конец этого порочного круга.

В смерти есть и другая сторона: как ни тесны ее врата, это единственные врата, позволяющие нам избежать порочного круга бесконечности в отделенности от Бога, от полноты, позволяющие вырваться из тварной бесконечности, в которой нет пространства, чтобы снова стать причастниками Божественной жизни, в конечном итоге – причастниками Божественной природы. Потому апостол Павел мог сказать: Жизнь для меня – Христос, смерть – приобретение, потому что, живя в теле, я отделен от Христа... Потому-то в другом месте он говорит, что для него умереть не означает совлечься себя, сбросить с плеч временную жизнь; для него умереть означает облечься в вечность. Смерть не конец, а начало. Эта дверь открывается и впускает нас в простор вечности, которая была бы навсегда закрыта для нас, если бы смерть не высвобождала нас из рабства земле.

Двойственное отношение

В нашем отношении к смерти должны присутствовать обе стороны. Когда умирает человек, мы совершенно законно можем сокрушаться сердцем. Мы с ужасом можем смотреть на то, что грех убил человека, которого мы любим. Мы можем отказываться принять смерть как последнее слово, последнее событие жизни. Мы правы, когда плачем над усопшим, потому что смерти не должно бы быть. Человек убит злом. С другой стороны, мы можем радоваться за него, потому что для него (или для нее) началась новая жизнь, – жизнь без ограничений, просторная. И опять-таки мы можем плакать над собой, над нашей потерей, нашим одиночеством, но в то же время мы должны научиться тому, что Ветхий Завет уже прозревает, предсказывает, когда говорит: *крепка, как смерть, любовь*, – любовь, которая не позволяет померкнуть памяти любимого, любовь, которая дает нам говорить о наших отношениях с любимым не в прошедшем времени: "Я любил его, мы были так близки", а в

настоящем: "Я люблю его; мы так близки". Так что в смерти есть многосложность, можно даже, быть может, сказать – двойственность; но если мы – собственный Христов народ, мы не имеем права из-за того, что сами глубоко ранены потерей и осиротели по-земному, не заметить рождения усопшего в вечную жизнь. В смерти есть сила жизни, которая достигает и нас.

Если же мы признаем, что наша любовь принадлежит прошлому, это означает, что мы не верим в то, что жизнь усопшего не прекратилась. Но тогда приходится признать, что мы неверующие, без-божники в самом грубом смысле слова, и тогда надо посмотреть на весь вопрос с совершенно другой точки зрения: если Бога нет, если нет вечной жизни, тогда случившаяся смерть не имеет никакого метафизического значения. Это просто природный факт. Победили законы физики и химии, человек вернулся в дление бытия, в круговорот природных элементов – не как личность, а как частица природы. Но в любом случае мы должны честно взглянуть в лицо своей вере или ее отсутствию, занять определенную позицию и поступать соответственно.

Еще личные воспоминания

Трудно, почти невозможно говорить о вопросах жизни и смерти отрешенно. Так что я буду говорить лично, быть может, более лично, чем понравится некоторым из вас. В своей жизни мы встречаемся со смертью в первую очередь не как с темой для размышления (хотя и это случается), а большей частью в результате потери близких – наших собственных или чьих-то еще. Этот косвенный опыт смерти и служит нам основой для последующих размышлений о неизбежности собственной смерти и о том, как мы к ней относимся. Поэтому я начну с нескольких примеров того, как я сам встретился со смертью других людей; быть может, это пояснит вам мое собственное отношение к смерти.

Мое первое воспоминание о смерти относится к очень далекому времени, когда я был в Персии, еще ребенком. Однажды вечером мои родители взяли меня с собой посетить, как тогда было принято, розарий, известный своей красотой. Мы пришли, нас принял хозяин дома и его домочадцы. Нас провели по великолепному саду, предложили угощение и отпустили домой с чувством, что мы получили самое теплое, самое сердечное, ничем не скованное гостеприимство, какое только можно представить. Только на следующий день мы узнали, что пока мы ходили с хозяином дома, любовались его цветами, были приглашены на угощение, были приняты со всей учтивостью Востока, сын хозяина дома, убитый несколько часов назад, лежал в одной из комнат. И это, как ни мал я был, дало мне очень сильное чувство того, что такое жизнь и что такое смерть, и каков долг живых по отношению к живым людям, какие бы ни были обстоятельства.

Второе воспоминание – разговор времен гражданской или конца первой мировой войны между двумя девушками; брат одной, который приходился женихом другой, был убит. Новость дошла до невесты; она пришла к своей подруге, его сестре, и сказала: "Радуйся, твой брат погиб геройски, сражаясь за Родину". Это опять-таки показало мне величие человеческой души, человеческого мужества, способность противостать не только опасности, страданию, жизни во всем ее многообразии, всей ее сложности, но и смерти в ее голой остроте.

Еще несколько воспоминаний. Однажды в юности я вернулся из летнего лагеря. Мой отец встретил меня и выразил беспокойство по поводу того, как прошел лагерь. "Я боялся, – сказал он, – что с тобой что-то случилось". Я с легкостью юности спросил: "Ты боялся, что я сломал ногу или свернул шею?" И он ответил очень серьезно, с присущей ему трезвою любовью: "Нет, это не имело бы значения. Я боялся, что ты потерял цельность души". И затем добавил: "Помни: жив ты или умер – не так важно. Одно действительно важно, должно быть важно и для тебя и для других: ради чего ты живешь и за что ты готов умереть".

Это опять-таки показало мне меру жизни, показало, чем должна быть жизнь по отношению к смерти: предельным вызовом научиться жить (как отец сказал мне в другой раз) так, чтобы ожидать свою собственную смерть, как юноша ждет невесту, ждать смерть, как ждешь возлюбленную, – ждать, что откроется дверь.

И тогда (и это следует продумать гораздо глубже, чем сумел сделать я, но я это очень остро пережил сердцем на протяжении прошедшей Страстной седмицы), если Христос – дверь, открывающаяся на вечность, Он есть смерть наша. И это можно даже подтвердить отрывком из Послания к Римлянам, который читается при крещении; там говорится, что мы погрузились в смерть Христову, чтобы восстать с Ним. И другим местом Послания, которое говорит, что мы носим в теле своем мертвость Христову. Он – смерть, и Он – сама Жизнь и Воскресение.

Смерть отца

И еще последний образ: смерть моего отца. Он был тихий человек, мало говорил: мы редко общались. На Пасху ему стало нехорошо, он прилег. Я сидел рядом с ним, и впервые в жизни мы говорили с полной открытостью. Не слова наши были значительны, а была открытость ума и сердца. Двери открылись. Молчание было полно той же открытости и глубины, что и слова. А затем настала пора мне уйти. Я попрощался со всеми, кто был в комнате, кроме отца, потому что чувствовал, что, встретившись так, как мы встретились, мы больше не можем разлучиться. Мы не простились. Не было сказано даже "до свидания", "увидимся"; мы встретились – и это была встреча навсегда. Он умер в ту же ночь. Мне сообщили, что отец умер; я вернулся из госпиталя, где работал; помню, я вошел в его комнату и закрыл за собой дверь. И я ощутил такое качество и глубину молчания, которое вовсе не было просто отсутствием шума, отсутствием звука. Это было сущностное молчание, – молчание, которое французский писатель Жорж Бернанос описал в одном романе как "молчание, которое само – присутствие". И я услышал собственные слова: "А говорят, что есть смерть... Какая ложь!"

Соприсутствие с умирающим

Бывает умирание иное. Я помню молодого солдата, который оставлял после себя жену, ребенка, ферму. Он мне сказал: "Я сегодня умру. Мне жаль покидать жену, но тут ничего не поделаешь. Но мне так страшно умирать в одиночестве". Я сказал ему, что этого не произойдет: я буду сидеть с ним, и пока он будет в состоянии, он сможет открывать глаза и видеть, что я здесь, или разговаривать со мной. А потом он сможет взять меня за руку и время от времени пожимать ее, чтобы убедиться, что я здесь. Так мы сидели, и он ушел с миром. Он был избавлен от одиночества при смерти.

С другой стороны, порой Бог посылает человеку одинокую смерть, но это – не оставленность, это одиночество в Божием присутствии, в уверенности, что никто не ворвется безрассудно, драматически, не внесет тоску, страх, отчаяние в душу, которая способна свободно войти в вечность.

Последний мой пример касается молодого человека, которого попросили провести ночь у постели умиравшей пожилой женщины. Она никогда не верила ни во что вне материального мира, и теперь она покидала его. Молодой человек пришел к ней вечером, она уже не отзывалась на внешний мир. Он сел у ее постели и стал молиться; он молился, как мог, и словами молитв, и в молитвенном безмолвии, с чувством благоговения, с состраданием, но и в глубоком недоумении. Что происходило с этой женщиной, вступавшей в мир, который она всегда отрицала, которого никогда не ощутила? Она принадлежала земле – как могла она вступить в небесное? И вот что он пережил, вот что, как ему казалось, он уловил, общаясь с этой старой женщиной через сострадание, в озадаченности. Поначалу умиравшая лежала спокойно. Затем из ее слов, возгласов, ее движений ему стало ясно, что она что-то видит; судя

по ее словам, она видела темные существа; у ее постели столпились силы зла, они кишели вокруг нее, утверждая, что она принадлежит им. Они ближе всего к земле, потому что это падшие твари. А затем вдруг она повернулась и сказала, что видит свет, что тьма, теснившая ее со всех сторон, и обступившие ее злые существа постепенно отступают, и она увидела светлые существа. И она воззвала о помиловании. Она сказала: "Я не ваша, но спасите меня!" Еще немного спустя она произнесла: "Я вижу свет". И с этими словами – "я вижу свет" – она умерла.

Я привожу эти примеры для того, чтобы вы могли понять, почему мое отношение к смерти может показаться предвзятым, почему я вижу в ней славу, а не только скорбь и утрату. Я *вижу* и скорбь, и утрату. Примеры, которые я вам дал, относятся к внезапной, неожиданной смерти, смерти, которая приходит, как вор в ночи. Обычно так не случается. Но если вам встретится подобный опыт, вы, вероятно, поймете, как можно, хотя в сердце жгучая боль и страдание, вместе с тем радоваться, и каким образом – об этом мы еще поговорим – возможно в службе погребения провозглашать: *Блажен путь, вонъже идеши днесь, душе, яко уготовася тебе место упокоения...* и почему ранее в этой же службе мы как бы от лица умершего, употребляя слова псалма, говорим: *Жива будет душа моя и восхвалит Тя, Господи...*

Старение

Чаще, чем с внезапной смертью, мы сталкиваемся с долгой или короткой болезнью, ведущей к умиранию, и со старостью, которая постепенно приводит нас либо к могиле, либо – в зависимости от точки зрения – к освобождению: к последней встрече, к которой каждый из нас, сознательно или нет, стремится и рвется всю свою земную жизнь, – к нашей встрече лицом к лицу с Живым Богом, с Вечной Жизнью, с приобщенностью Ему. И этот период болезни или нарастающей старости нужно встретить и понять творчески, осмысленно.

Одна из трагедий жизни, которая приносит большие душевные страдания и муки – видеть, как любимый человек страдает, теряет физические и умственные способности, теряет как будто то, что было самое ценное: ясный ум, живую реакцию, отзывчивость на жизнь и т. п. Так часто мы стараемся отстранить это, обойти. Мы закрываем глаза, чтобы не видеть, потому что нам страшно видеть и предвидеть. И в результате смерть приходит и оказывается внезапной, в ней – не только испуг внезапности, о чем я упоминал ранее, но и дополнительный ужас того, что она поражает нас в самую сердцевину нашей уязвимости, потому что боль, страх, ужас росли, нарастали внутри нас, а мы отказывались дать им выход, отказывались сами внутренне созреть. И удар бывает более болезненный, более разрушительный, чем при внезапной смерти, потому что кроме ужаса, кроме горечи потери, с ним приходит все самоукорение, самоосуждение за то, что мы не сделали всего, что можно было сделать, – не сделали из-за того, что это заставило бы нас стать правдивыми, стать честными, не скрывать от самих себя и от стареющего или умирающего человека, что смерть постепенно приоткрывает дверь, что эта дверь однажды широко раскроется, и любимый должен будет войти в нее, даже не оглянувшись.

Каждый раз, когда перед нами встает медленно надвигающаяся утрата близкого человека, очень важно с самого начала смотреть ей в лицо, – и делать это совершенно спокойно, как мы смотрим в лицо человеку, пока он жив и среди нас. Ведь мысли о грядущей смерти противостоит реальность живого присутствия. Мы всегда можем полагаться на это несомненное присутствие и вместе с тем все яснее видеть все стороны идущей на нас потери. Вот это равновесие между убедительностью реальности и хрупкостью мысли и позволяет нам готовить самих себя к смерти людей, которые нам дороги.

Жизнь вечная

Разумеется, такая подготовка, как я уже сказал, влечет за собой отношение к смерти, которое признает, с одной стороны, ее ужас, горе утраты, но вместе с тем сознает, что смерть – дверь, открывающаяся в вечную жизнь. И очень важно снять преграды, не дать страху возвести стену между нами и умирающим. Иначе он осужден на одиночество, оставленность, ему приходится бороться со смертью и всем, что она для него представляет, без всякой поддержки и понимания; эта стена не позволяет и нам сделать все, что мы могли бы сделать, с тем, чтобы не осталось никакой горечи, никакого самоукорения, никакого отчаяния. Нельзя с легкостью сказать человеку: "Знаешь, ты же скоро умрешь..." Для того, чтобы быть в состоянии встретить смерть, надо знать, что ты укоренен в вечности, не только теоретически знать, но опытно быть уверенным, что есть вечная жизнь. Поэтому часто, когда видны первые признаки приближающейся смерти, надо вдумчиво, упорно работать на то, чтобы помочь человеку, который должен войти в ее тайну, открыть, что такое вечная жизнь, в какой мере он уже обладает этой вечной жизнью и насколько уверенность в том, что он обладает вечной жизнью, сводит на нет страх смерти, – не горе разлуки, не горечь о том, что смерть существует, а именно страх. И некоторым людям можно сказать: "Смерть при дверях; пойдем вместе до ее порога; будем вместе возрастать в этот опыт умирания. И войдем вместе в ту меру приобщенности вечности, которая доступна каждому из нас".

Это я тоже хотел бы пояснить примером. Лет тридцать тому назад в больнице очутился человек, как казалось, с легким заболеванием. Его обследовали и нашли, что у него неоперабельный, неисцелимый рак. Это сказали его сестре и мне, ему не сказали. Я его навестил. Он лежал в постели, крепкий, сильный, полный жизни, и он мне сказал: "Сколько мне надо еще в жизни сделать, и вот, я лежу, и мне даже не могут сказать, сколько это продлится". Я ему ответил: "Сколько раз вы говорили мне, что мечтаете о возможности остановить время, так, чтобы можно было *быть* вместо того, чтобы *делать*. Вы никогда этого не сделали. Бог сделал это за вас. Настало вам время *быть*". И перед лицом необходимости *быть*, в ситуации, которую можно было бы назвать до конца созерцательной, он в недоумении спросил: "Но как это сделать?"

Я указал ему, что болезнь и смерть зависят не только от физических причин, от бактерий и патологии, но также от всего того, что разрушает нашу внутреннюю жизненную силу, от того, что можно назвать отрицательными чувствами и мыслями, от всего, что подрывает внутреннюю силу жизни в нас. не дает жизни свободно изливаться чистым потоком. И я предложил ему разрешить не только внешне, но и внутренне все, что в его взаимоотношениях с людьми, с самим собой, с обстоятельствами жизни было "не то", начиная с настоящего времени; когда он выправит все в настоящем, идти дальше и дальше в прошлое, примиряясь со всем и со всеми, развязывая всякий узел, вспоминая все зло, примиряясь – через покаяние, через приятие, с благодарностью, со всем, что было в его жизни; а жизнь-то была очень тяжелая. И так, месяц за месяцем, день за днем мы проходили этот путь. Он примирился со всем в своей жизни. И я помню, в самом конце жизни он лежал в постели, слишком слабый, чтобы самому держать ложку, и он мне сказал с сияющим взором: "Мое тело почти умерло, но я никогда не чувствовал себя так интенсивно живым, как теперь". Он обнаружил, что жизнь зависит не только от тела, что он – не только тело, хотя тело – это он; обнаружил в себе нечто реальное, чего не могла уничтожить смерть тела.

Это очень важный опыт, который я хотел напомнить вам, потому что так мы должны поступать снова и снова, в течение всей жизни, если хотим ощущать силу вечной жизни в самих себе и не страшиться, что бы ни случалось с временной жизнью, которая тоже принадлежит нам. Невозможно глубоко пережить процесс умирания, потому что мы не в состоянии вообразить, в чем он состоит. Но можно обратиться к опыту людей, которые общались с умирающими.

Восприятие смерти в детстве

Я хотел бы теперь перейти к другой теме, поговорить о другом. Встречу с собственной смертью мы переживаем очень различно, в зависимости от возраста и обстоятельств. Подумайте о детях, которые слышат слово "смерть". Одни из них имеют, может быть, смутное представление о ней; другие потеряли, возможно, одного или обоих родителей и горевали от сиротства. Они ощутили потерю, но не самую смерть, большинство детей, во всяком случае мальчиков, в какой-то период жизни играют в войну. "Я тебя застрелил. Ты убит. Падай!" И ребенок падает, и знает в своих чувствах, хотя и изнутри защищенности игры, что он мертв; для него это означает, что он не имеет права участвовать в игре, бегать, не вправе шевельнуться. Он так и должен лежать. Вокруг него продолжается жизнь, а он не принадлежит ей; пока в какой-то момент он больше не может выдержать и вскакивает с возгласом: "Мне надоело быть мертвым, теперь твоя очередь!" Это очень важный опыт, потому что через него ребенок обнаруживает, что может оказаться вне жизни; а вместе с тем это происходит в игре, он защищен игровой ситуацией. В любой момент переживанию смерти может быть положен конец по взаимной договоренности, но чему-то он научился. Я помню, много лет тому назад в одном из наших детских лагерей был чрезвычайно впечатлительный мальчик, который воспринимал эту ситуацию настолько остро, что не мог вынести ее напряжения; и я провел с ним целую игру, жил, прятался, вступал в бой, был убит вместе с ним, чтобы он смог войти в этот опыт, который для него был не игрой, был слишком реален. Это один пример.

Ребенок может познакомиться со смертью уродливым образом, и это искалечит его, – или напротив, здраво, спокойно, как покажет следующий пример (он взят из жизни, это не притча). Глубоко любимая бабушка умерла после долгой и тяжелой болезни. Меня позвали, и когда я приехал, то обнаружил, что детей увели. На мой вопрос родители ответили: "Мы же не могли допустить, чтобы дети остались в одном доме с покойницей". – "Но почему?" – "Они знают, что такое смерть". – "И что же они знают о смерти?" – спросил я. – "На днях они нашли в саду крольчонка, которого задрали кошки, так что они видели, что такое смерть". Я сказал, что если у детей сложилась такая картина смерти, они обречены через всю жизкь пронести чувство ужаса. При всяком упоминании о смерти, на каждых похоронах, у любого гроба – в этом деревянном ящике для них будет скрыт невыразимый ужас... После долгого спора, после того, как родители сказали мне, что дети неизбежно получат психическое расстройство, если им позволить увидеть бабушку, и что это будет на моей ответственности, я привел детей. Первый их вопрос был: "Так что же случилось с бабушкой?" Я сказал им: "Вы много раз слышали, как ей хотелось уйти в Царство Божие к дедушке, куда он ушел прежде нее. Вот это и произошло". – "Так она счастлива?" – спросил один из детей. Я сказал: "Да". И потом мы вошли в комнату, где лежала бабушка. Стояла изумительная тишина. Пожилая женщина, лицо которой много лет было искажено страданием, лежала в совершенном покое и мире. Один из детей сказал: "Так вот что такое смерть!" И другой прибавил: "Как прекрасно!" Вот два выражения того же опыта. Дадим ли мы детям воспринимать смерть в образе крольчонка, разодранного кошками в саду, или покажем им покой и красоту смерти?

В Православной Церкви покойника привозят в храм заранее; мы молимся у открытого гроба [В практике Запада гроб привозят в храм закрытым, прямо к отпеванию, и открывают для прощания только по специальному настоянию близких. – *Ред*], рядом с ним стоят и взрослые и дети. Смерть вовсе не следует скрывать; она проста, она – часть жизни. Дети могут посмотреть в лицо умершего и увидеть покой. На прощание мы целуем умершего. И надо не забыть предупредить ребенка, что лоб человека, который обычно был теплый, теперь, когда он его поцелует, окажется холодным; тут можно сказать: "Это печать смерти". Жизни сопутствует тепло; смерть холодна. И тогда ребенок не пугается, потому что у него есть опыт тепла и холода; и то и другое имеет свою природу и свое значение.

Насильственная смерть

Позднее мы встречаемся со смертью в соответствии с этими первыми впечатлениями. Подростками, в юности мы можем столкнуться трагически с насильственной смертью, несчастными случаями, войной. Я помню юношу, который ни разу в жизни не подумал о смерти; его друг погиб, разбился на большой скорости на мотоцикле. Он пришел ко мне и сказал, что когда увидел результат этого безумия – искалеченное, истерзанное тело друга, это заставило его задуматься. И знаете, что пришло ему на мысль? Мне это показалось *non sequitur*, никак не связано с тем, что произошло. А он подумал: "Если я не ищу и не достигаю святости, я скрадываю Бога, лишаю Его славы и краду у ближнего то, что ему по праву принадлежит". Смерть – грубая, жестокая, безобразная, которой он стал свидетелем – поставила его лицом к лицу с вечными, абсолютными ценностями, которые он носил в себе, но которые в нем всегда спали, бездейственные, нетронутые.

На войне смерть порой встречаешь с ужасом, а порой – с душевным подъемом. Но так часто со смертью встречаются люди в том возрасте и состоянии, которые никак не подготовили их к умиранию, к встрече со смертью. Молодое, крепкое человеческое тело без всякого, казалось бы, семени смерти почти мгновенно оказывается перед вероятностью или даже порой неизбежностью смерти. Реакция бывает очень различная; многое зависит от того, за что сражался человек, бился ли он убежденно или поневоле, по необходимости или добровольно. И то, как человек умирает, определяется не возвышенностью дела, которое он защищает, а тем, насколько полно, от всего сердца он предан этому делу и готов отдать за него жизнь.

Я помню по 1940 году двух молодых немецких солдат. Они были страшно изранены, умирали. Я подошел и спросил одного из них: "Очень больно?" Он посмотрел на меня угасающим взором и ответил: "Я не страдаю. Мы же вас бьем..." Он мог встречать смерть из своей убежденности, что поступает право. С моей точки зрения он поступал неправо, но дело не в этом, – он-то был всем сердцем предан своим побуждениям.

Потеря близких

Как я уже говорил, мы соприкасаемся со смертью впервые и сколько-то длительно через потерю близких. И на этом я хотел бы несколько остановиться, потому что, научаясь понимать смерть других людей, ее действие в них, ее действие в нас через переживание чужой смерти, мы сумеем глядеть в лицо смерти, в конечном итоге – встретить лицом к лицу собственную смерть, сначала как возможность, вернее, неизбежность, но неизбежность часто как будто настолько далекую, что мы с ней не считаемся, – а затем и как самую реальность, грядущую на нас. Поэтому я остановлюсь на этой теме – утрате близких.

Собственная осиротелость

Я уже упоминал, что одна из проблем, сразу встающих перед тем, кто потерял близкого человека,– это чувство, ощущение одиночества, оставленности тем порой единственным человеком, кто имел для нас значение, кто заполнял все пространство, все время, все сердце. Но даже если сердце не было заполнено целиком, усопший оставляет после себя громадную пустоту. Пока человек болеет, мы погружены в мысли и заботы о нем. Мы действуем собранно и целенаправленно. Когда человек умер, очень часто оставшимся кажется, что их деятельность потеряла смысл, во всяком случае, не имеет непосредственной цели, центра, направленности; жизнь, которая, хотя была тяжела и мучительна, текла потоком, становится трясиной. Одиночество означает также, что не с кем поговорить, некого выслушать, не к кому проявить внимание, что никто не ответит, не отзовется, и нам некому ответить и отозваться; а это означает также очень часто, что только благодаря ушедшему мы имели в собственных глазах некую ценность: для него мы действительно что-то значили, он служил утверждением нашего бытия и нашей значимости.

Габриель Марсель говорит: "Сказать кому-нибудь: "Я тебя люблю" – то же самое, что сказать: "Ты никогда не умрешь..." Это можно сказать и в случае смертной разлуки. Нас оставил человек – и некому больше утверждать нашу высшую ценность, наше предельное значение. Нет того человека, который мог бы сказать: "Я люблю тебя", и, следовательно, у нас нет признания, утверждения в вечности... Этому тоже надо уметь посмотреть в лицо. Такое нельзя, невозможно отстранить, от этого не уйдешь. Образовалась пустота, и эту пустоту никогда не следует пытаться заполнить искусственно чем-то мелким, незначительным. Мы должны быть готовы встретить горе, тоску, смотреть в лицо всему, что происходит внутри нас самих, и тому, что навязывает нам ложно понятое доброжелательство окружающих, которые бередят наше горе и страдание, настоятельно напоминая о нем. Мы должны быть готовы признать, что любовь может выражаться и через страдание, и что если мы утверждаем, что действительно любим того, кто ушел из этой жизни, мы должны быть готовы любить человека из глубины горя и страдания, как мы любили его в радости, утверждая его этой радостью общей жизни. Это требует мужества, и, я думаю, об этом надо говорить снова и снова сегодня, когда многие, чтобы избежать страдания, обращаются к транквилизаторам, к алкоголю, ко всякого рода развлечениям – лишь бы забыться. Потому что то, что происходит в душе человека, может быть заслонено, но не прерывается, и если оно не будет разрешено, человек измельчает, он не вырастет.

Жизнь усопшего как пример

Скажу еще вот о чем. Очень часто оставшиеся чувствуют, что потеря коснулась не только их самих, она затронула многих: окружающие лишились ума, сердца, воли человека, который поступал добротно и прекрасно. И человек, потерявший близкого, сосредотачивается умом на этой потере. Тут следует помнить – и это очень важно – что всякий, кто живет, оставляет пример: пример, как следует жить, или пример недостойной жизни. И мы должны учиться от каждого живущего или умершего человека; дурного – избегать, добру – следовать. И каждый, кто знал усопшего, должен глубоко продумать, какую печать тот наложил своей жизнью на его собственную жизнь, какое семя было посеяно; и должен принести плод.

В Евангелии говорится, что если семя не умрет, то не принесет плода, а если умрет, то принесет плод в тридцать, в шестьдесят и во сто раз. Именно это может произойти, если мы всем сердцем, всем умом и памятью, всей нашей чуткостью, во всей правде задумаемся над жизнью усопшего. Будь у нас мужество воспользоваться этим мечом, именно Божиим мечом, чтобы разделить свет от тьмы, чтобы со всей доступной нам глубиной отделить плевелы от пшеницы, тогда, собрав весь доступный нам урожай, каждый из нас, каждый, кто знал усопшего, принес бы плод его жизни, стал жить согласно полученному и воспринятому образу, подражая всему, что достойно подражания в жизни этого человека.

Разумеется, каждый из нас больше напоминает сумерки, чем яркий, сияющий свет, но свет и во тьме светит, и этот свет следует прозревать и отделять от тьмы в самих себе, так, чтобы как можно больше людей могло жить и приносить плод жизни данного человека.

На погребении мы стоим с зажженными свечами. Это означает, мне кажется, две вещи. Одна самоочевидна: мы провозглашаем Воскресение, мы стоим с зажженными свечами так же, как в пасхальную ночь. Но мы стоим также, свидетельствуя перед Богом, что этот человек внес в сумерки нашего мира хоть проблеск света, и мы этот свет сохраним, обережем, умножим, поделимся им так, чтобы он светил все большему числу людей, чтобы он разгорался по возможности в тридцать, в шестьдесят, во сто раз. И если мы решимся так жить, чтобы наша жизнь была продолжением всего, что было в нем благородного и истинного и святого,

тогда действительно этот человек прожил не напрасно, и мы поистине почувствуем, что сами живем не напрасно. В нас не останется места надеждам на скорый конец, потому что у нас есть задание, которое мы должны выполнить.

Можно взять пример, который, разумеется, далеко превосходит наш опыт, слова апостола Павла: для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение, потому что пока я живу в теле, я разлучен от Христа; но для вас полезнее, чтобы я жил... Где сокровище наше, там и сердце наше будет. Сокровищем для Павла был Христос, самая драгоценная находка и обладание его пламенной, мощной души, вся любовь его жизни, которая заставляла его устремляться к тому времени, когда он облечется в вечность и увидит, как Бог видит его, познает, как сам познан, войдет в общение без всякого покрывала или тусклого стекла между ним и предметом его любви. Но вместе с тем он знал, что, обладая тем опытом, который он пережил, он может принести миру свидетельство, какого не могут принести те, кто говорит только понаслышке. И он был готов отказаться от встречи, которой жаждал, от приобщенности и единства, к которым устремлялся, ради того, чтобы принести свое свидетельство. И его любовь к единоплеменникам была такова, что он мог воскликнуть, что готов сам быть отлучен от Христа навеки, если это откроет им путь к Нему. В какой-то малой мере каждого, кто живет и становится для нас таким сокровищем или одним из самых драгоценных обладании нашего сердца, можно рассматривать в таком контексте.

Свидетельство нашей жизни

Это приводит меня к еще одному аспекту всей ситуации. Мы оставлены, чтобы все, что мы видели, что слышали, что пережили, могло умножиться и распространиться и стать новым источником света на земле. Но если мы можем со всей правдой, искренне сказать, что усопший был для нас сокровищем, – тогда наше сердце должно быть там, где наше сокровище, и мы должны вместе с этим человеком, который вошел в вечность, жить возможно полнее, возможно глубже в вечности. Только там мы можем быть неразлучны. Это означает, что по мере того, как все большее число любимых нами людей покидает это земное поприще и входит в неколебимый покой вечной жизни, мы должны все больше чувствовать, что принадлежим тому миру все полнее, все совершеннее, что его ценности все больше становятся нашими ценностями. И если один из любимых носит имя Господа Иисуса Христа, если Он – одно из самых больших наших сокровищ, тогда, подобно апостолу Павлу, мы поистине можем, еще будучи на земле, устремляться всецело, всем сердцем, и умом, и плотью, к тому дню, когда соединимся с Ним уже неразлучно.

Путь примирения

Есть молитвы, предваряющие смерть человека, есть последования, связанные с подготовкой к смерти. Подготовка, в первую очередь, через то, чтобы отвернуться от временного к вечному. Святой Серафим Саровский перед смертью говорил: телом я приближаюсь к смерти, а духом я точно новорожденный младенец, со всей новизной, всей свежестью начала, а не конца... Это говорит о том, что необходимо готовиться к смерти через суровый, но освобождающий нас процесс примирения со всеми, с самим собой, с собственной совестью, со всеми обстоятельствами, с настоящим и с прошлым, с событиями и с людьми, и даже с будущим, с самой грядущей смертью. Это целый путь, на котором мы примиряемся, как говорит, кажется, святой Исаак Сирин, с нашей совестью, с ближним, даже с предметами, которых мы касались – так, чтобы вся земля могла сказать нам: "Иди в мире", и чтобы мы могли сказать всему, что представляла для нас земля: "Оставайся с миром, и пусть будет на тебе Божий мир и Божие благословение". Невозможно войти в вечность связанным, опутанным ненавистью, в немирном состоянии. И если мы хотим достичь этого в то короткое время, которое грядущая смерть нам оставляет, очень важно рассматривать всю нашу жизнь

как восхождение, – восхождение к вечности, не как смертное увядание, а как восхождение к моменту, когда мы пройдем тесными вратами смерти в вечность, – не совлекшись временной жизни, но, по слову апостола Павла, облекшись в вечность.

Согласно православному преданию, первые три дня после смерти душа человека остается около земли, посещает привычные ей места, как бы вспоминая все, чем была для нее земля; так что душа покидает землю и предстает перед Богом в полном сознании всего, что с ней происходило. Эти три дня окружены особым вниманием. Мы молимся, мы служим панихиды, мы сосредоточены мыслью на всей многосложности наших отношений с усопшим. И у нас есть свое задание. Мы должны развязать все узелки в душе. Мы должны быть в состоянии сказать усопшему из самой глубины сердца и всего нашего существа: "Прости меня!" и сказать также: "Я прощаю тебя, иди в мире".

Может быть, в этом объяснение старого присловья, что об усопшем не следует говорить дурного. Если мы истинно, во всей истине и правде, сказали усопшему: "Я отпускаю тебя. Я встану перед Богом со своим прощением, пусть ничто, что было между нами, не стоит на твоем пути к полноте и вечной радости", то как можем мы вернуться назад, припомнить зло, припомнить горечь? Это не значит, что мы закрываем глаза на реальность, потому что если действительно в жизни человека было зло, если действительно было что-то неладное между нами и усопшим, то тем более должны мы молить Бога освободить обоих – и нас самих и усопшего, – чтобы быть в состоянии и услышать слова прощения "Иди с миром", и произнести эти слова со все нарастающей глубиной понимания, все нарастающим сознанием свободы.

Душа и тело

Теперь, говоря о проблеме реальности смерти, мы обратимся к различным связанным с ней службам Православной Церкви. Поскольку каждый может прочесть их или знает на опыте, я не буду разбирать их подробно, а выделю некоторые характерные черты. Во-первых, есть две службы, которые все вы, несомненно, хорошо знаете: это краткое богослужение в память усопшего – панихида, и отпевание мирян. Существуют и другие, менее известные последования; к ним относится канон, по возможности читаемый над человеком, отходящим из этого мира, оставляющим его тяжело, трудно; а также отпевание младенцев и отпевание священников. Всем этим службам свойственны некоторые основные черты.

В этих последованиях две стороны: забота о душе и забота о теле. Мы разделяем со всеми Церквами молитвенную заботу об отходящей или отошедшей душе. Но мне кажется, что Православие оказывает особенное внимание телу, его отношение к телу удивительно полно содержания. В панихиде все внимание сосредоточено на душе, которая теперь в вечности стоит лицом к лицу с Живым Богом, возрастает во все углубляющееся познание Бога, во все углубляющуюся приобщенность Ему. В службе отпевания, наряду с заботой о душе – отошедшей, но еще в каком-то смысле столь близкой земле – выражена глубокая забота о теле.

Тление

В связи с этим я хочу сказать несколько слов о самом теле. Если прочесть службу погребения, видно, что тело рассматривается с двух точек зрения. С одной стороны, мы сознаем, что это тело обречено на тление: *земля еси и в землю отыдеши*, и мысль об этом очень болезненна, видеть это очень больно. Я сейчас думаю о чем-то, о чем говорить очень трудно, о чем я говорил только один раз в жизни, несколько дней спустя после похорон моей матери, потому что чувствовал, что это единственный случай, когда я смогу высказаться, поделиться этими мыслями.

Моя мать умерла в Великую пятницу; хоронили ее почти неделю спустя. Утром перед отпеванием я спустился провести с ней напоследок несколько минут в нашей домовой церкви, и впервые заметил признаки тления на ее руках и на лице. Меня глубоко ранило, что этих рук,

которые я так любил, этого лица, которое я так любил, теперь коснулось тление. Первое мое движение было – отвернуться и не смотреть; отвернуться не от моей матери, но уйти от этого видения, этих темных пятен, которые распространялись. Но потом я уловил в этом последнюю весть, в которую я должен вглядеться, которую должен воспринять. Тело, которое было мне так дорого, скоро распадется, и вот что моя мать говорила мне: "Если ты хочешь никогда меня не потерять, не приходи встречаться со мной на могилу. Конечно, то, что остается от меня земного, будет лежать там, и ты можешь почитать это место, ухаживать за ним, но общаться отныне мы будем не через тело; наше общение в Боге".

Я сказал об этом проповедь в приходе, и кое-кто упрекнул меня в грубости и бесчувствии. Но я мог это сказать только по поводу смерти *моей* матери; я не смог бы этого сказать при смерти чьей-нибудь еще матери, или жены, или брата, или друга. И сейчас я это повторяю, потому что в нашем отношении к усопшему мы должны найти равновесие между принятием реальности и уверенностью веры, между видением тления и уверенностью в вечной жизни, между любовью к месту, где покоятся останки любимого тела, и уверенностью, что связь, общение продолжается на всю вечность в Боге. Это первый аспект участия тела. Мы находим отголоски этого горя и чувства трагичности в различных молитвах, в тропаре и в каноне, в стихирах Иоанна Дамаскина: человеческое тело, которое было призвано к вечной жизни, убито смертностью, порожденной потерей Бога.

Целостный человек

С другой стороны, Священное Писание, говоря о целостном человеке, в различных местах употребляет слово "тело", или "человек", или "душа". И действительно, между телом и душой, даже между телом и духовными переживаниями существует неразрывная связь. Апостол Павел свидетельствует об этом, когда говорит: *вера от слышания, а слышание от слова Божия*... Слово произносится, слово бывает услышано посредством тела: через уста говорящего, уши слушающего; но слова достигают сердца, достигают ума, достигают сердцевины человека так, что одно Божие слово может перевернуть жизнь человека. Мы ведь знаем, насколько наши телесные чувства принимают участие во всем, что происходит в нашем уме, в нашем сердце. Мать выражает всю свою любовь к ребенку, касаясь его, лаская его; сколько утешения можно передать прикосновением руки, сколько любви во всех ее формах может быть выражено посредством тела. Так что когда мы глядим на тело усопшего, мы видим не просто сброшенную одежду, как многие стараются убедить себя, по крайней мере на словах, чтобы утешиться, чтобы загладить горе. Тело не одежда, и мы не просто сбрасываем его. Это тело столь же реально, как реален весь человек, как реальна душа. Только в единстве тела и души мы являемся полным человеком.

Это выражает неожиданным, может быть, даже поразительным образом святой Исаак Сирин, который, говоря о теле, пишет, что вечная судьба человека не может определиться раньше воскресения тела, потому что телу наравне с душой надлежит выбрать и определить вечную участь человека; смысл этого высказывания таинственен для нас, потому что мы не в состоянии представить, как это возможно. И однако – да: я – это мое тело, равно как и моя душа. И человека можно рассматривать только в целостности. Поэтому когда мы смотрим на тело, мы смотрим на него с благоговением. Мы видим его со всем страданием и всей радостью, всей тайной жизни, какая была в этом человеке. Тело можно бы назвать видимым образом невидимого. В этом отношении, быть может, не случайно в славянской церковной службе тело называется *мощами*. Каждое тело, окруженное любовью, благоговением, почитанием, тело, призванное к воскресению, тело, которое на протяжении всей жизни служило таинственному общению с Богом в Крещении и Миропомазании, в Помазании святым елеем при болезни, в Приобщении Телу и Крови Христовым, в получении благословения – это тело является, так сказать, семенем – и это слово апостола Павла: сеется в тлении, восстает в славе... Это тело тления, от которого хотел бы освободиться апостол, чтобы

жить в полноте, лицом к Лицу с Богом, вместе с тем призвано к вечности.

Так, с одной стороны мы видим, что это тело, столь дорогое и драгоценное, поражено и побеждено смертностью, подвержено смерти. А с другой стороны мы видим в нем семя, которое посеяно, чтобы через воскресение восстать вновь в славе бессмертия. И глядя на него, мы не можем не прозревать его связь с Телом Христа. У апостола Павла есть выражение: *жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге...* Наше воплощенное человечество сокрыто в тайне Святой Троицы, и эта воплощенность охватывает все человечество. Во Христе, в Матери Божией мы уже можем видеть прославленность, к которой призвано наше тело. Так что мы не то что разделены, но мы в очень сложном состоянии, когда, сокрушаясь сердцем о разлуке, с изумлением видим, что человеческое тело может умереть, но взираем с верой и надеждой на это тело, которое когда-то восстанет, подобно телу Христа.

Победа Воскресения

Воскресением Христовым смерть на самом деле преодолена. Смерть преодолена во всех отношениях. Она побеждена, потому что благодаря Воскресению Христову мы знаем, что смерть – не последнее слово, и что мы призваны восстать и жить. Смерть также поражена победой Христа, поправшего ад, потому что самый ужасный аспект смерти в представлении ветхозаветного народа израильского был в том, что отделенность от Бога, которую принесла с собой смерть, стала окончательной, непреодолимой. Те, кто умирал от потери Бога – и это относилось ко всем умершим – в смерти терял Его навсегда. Ветхозаветный *шеол* был местом, где Бога нет, местом окончательного, безвозвратного Его отсутствия и разлуки. Воскресением Христа, Его сошествием во ад, в глубины адовы, этому был положен конец. Есть разлука на земле, есть горечь разлуки, но нет в смерти разлучения от Бога. Напротив, смерть – момент, путь, через который, как бы мы ни были отделены, как бы несовершенно ни было наше единение и гармония с Богом, мы предстаем перед Его лицом. Бог – Спаситель мира. Он не раз говорил: Я пришел не судить мир, но спасти мир... Мы предстаем перед Тем, Кто есть Спасение.

Отпевание

В службе отпевания есть трудные моменты. Нужно собрать всю нашу веру и всю нашу решимость, чтобы начать эту службу словами: *Благословен Бог наш...* Порой это предельное испытание для нашей веры "Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно", – сказал Иов. Но это нелегко сказать, когда мы раздираемся сердцем, видя, что тот, кого мы любим больше всего, лежит мертвым перед нашим взором.

А затем следуют молитвы, полные веры и чувства реальности, и молитвы человеческой хрупкости; молитвы веры сопровождают душу усопшего и приносятся перед лицом Божиим как свидетельство любви. Потому что все молитвы об усопшем являются именно свидетельством перед Богом о том, что этот человек прожил не напрасно. Как бы ни был этот человек грешен, слаб, он оставил память, полную любви: все остальное истлеет, а любовь переживет все. Вера пройдет, и надежда пройдет, когда вера станет видением и надежда – обладанием, но любовь никогда не пройдет.

Поэтому когда мы стоим и молимся об усопшем, мы на самом деле говорим: "Господи, этот человек прожил не напрасно. Он оставил по себе пример и любовь на земле; примеру мы будем следовать; любовь никогда не умрет". Провозглашая перед Богом нашу неумирающую любовь к усопшему, мы утверждаем этого человека не только во времени, но и в вечности. Наша жизнь может быть его искуплением и его славой. Мы можем жить, воплощая своей жизнью все то, что было в нем значительного, высокого, подлинного, так, что когда-то, когда придет и нам время со всем человечеством стать перед Богом, мы сможем принести Господу все плоды, всю жатву семян, посеянных его примером, его жизнью, которые проросли и

принесли плод благодаря нашей неумирающей любви, и сказать Господу: "Прими это от меня; оно принадлежит ему, ей: я – только поле; сеятель был он! Его пример, его слово, его личность были словно семя, брошенное в почву, и этот плод принадлежит ему".

И мы можем стоять с разбитым сердцем и тем не менее провозглашать слова веры: *Благословен Бог наш...* Порой еще трагичнее звучит тропарь Воскресения: *Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав*, – когда перед нашими взорами мертвое тело человека, которого мы любили. Но голос Церкви произносит слова поддержки и утешения: *Блажен путь, в оньже идеши днесь, душе, яко уготовася тебе место упокоения*, и: *Жива будет душа моя и восхвалит Тя, Господи*.

И с другой стороны, есть вся боль, все горе, которое мы ощущаем совершенно справедливо, скорбь, которая от лица умирающего выражена в одном из тропарей канона на исход души: *Плачите, воздохните, сетуйте: се бо от вас ныне разлучаюся*.

И вместе с тем есть несомненная уверенность, что смерть, которая для нас – потеря и разлука, есть рождение в вечность. что она – начало, а не конец; что смерть – величественная, священная встреча между Богом и живой душой, обретающей полноту только в Боге.